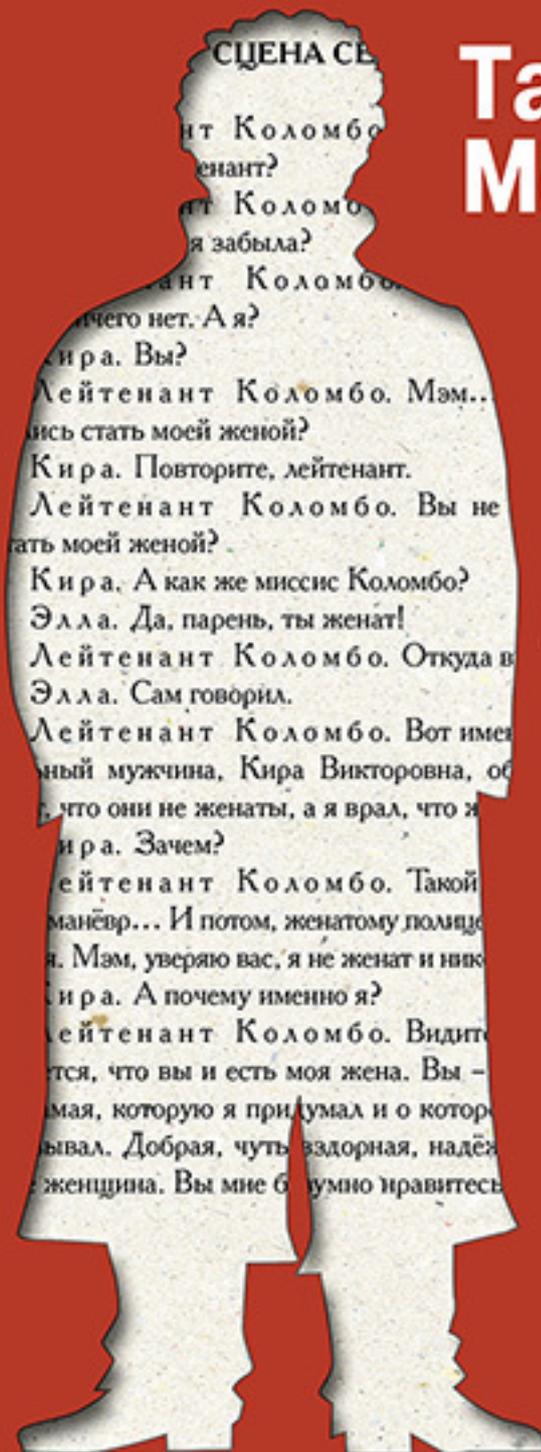


# Татьяна Москвина



## ЖЕНА ЛЕЙТЕНАНТА КО ЛОМ БО



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург

Татьяна Москвина  
**Жена лейтенанта  
Коломбо (сборник)**

«Издательство К.Тублина»

2018

УДК 82-2  
ББК 84 (2Рос-Рус)6

**Москвина Т. В.**

Жена лейтенанта Коломбо (сборник) / Т. В. Москвина —  
«Издательство К.Тублина», 2018

ISBN 978-5-8370-0861-0

Книга «Жена лейтенанта Коломбо» – сборник пьес, часть которых написана в форме актёрского монолога, что делает их практически неотличимыми от исповедальной прозы. Несмотря на то, что пьесы Москвиной с успехом идут на петербургских и московских сценах и хорошо известны театрам, большинство представленных в сборнике драматургических произведений публикуется впервые. Москвину, как Островского и Чехова, можно и нужно читать «глазами» – сочный и колоритный язык её пьес ценен уже сам по себе, без сценической подпорки. В чём теперь каждый имеет возможность убедиться.

УДК 82-2  
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-8370-0861-0

© Москвина Т. В., 2018  
© Издательство К.Тублина, 2018

## Содержание

Предисловие	6
Русские монологи	7
Фердыщенко	7
Дарю тебе платочек	20
«Мамочка, рапортую!»	28
Что-нибудь новенькое	31
Сказка про алкоголика	38
Действующие лица	38
Сцена первая	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# **Татьяна Владимировна Москвина**

## **Жена лейтенанта Коломбо**

© Т. Москвина, 2018

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2018

© А. Веселов, оформление, 2018

\* \* \*

## Предисловие

В этой книге собраны мои драматические сочинения разной судьбы. Есть пьеса-удачница – «Па-де-де», её играли в столицах и в провинции, дважды случились радиопостановки и даже вышел фильм «Не делайте бисквиты в плохом настроении» по третьей новелле. Время от времени я встречаю сообщения, что вот, в таком-то театре снова поставили «Па-де-де» и вздыхаю: ладно. Хоть бы пригласили... Автор-то жив. Ведь это положительно невероятно!

А есть сочинение, которое ещё никто не читал – такое оно заветное. «Изобретение женщины». Оно посвящено А. П. Чехову и ждёт своего воплощения. «Русские монологи» – зажили на сцене Санкт-Петербургского драматического театра на Литейном, но под именем «КотАвасия». «Проклятая любовь» идёт в театре на Васильевском, «Жена лейтенанта Коломбо» состоялась на «Радио России – Санкт-Петербург»... Но, в общем, конечно, я испытываю недостаток в публике. Когда идут спектакли, чувствую: она не дура, она меня понимает. Волнуется, хочет, замирает... И досада берёт: отчего между мной и зрителями стоит это неповоротливое тело, современный театр!

Давайте обойдёмся без него, ага? На что нам вечер, чаёк с мёдом и лимоном и – воображение! И не надо никуда тащиться, и я с вами...

Я с вами, а вы со мной. Вы, люди. Я подслушивала вас, я думала о вас, я сочиняла вас. Вы мне нужны – и как же я надеюсь, что нужна вам!

*Татьяна Москвина*

## Русские монологи

### Фердыщенко

#### Сочинение по мотивам романа

#### Ф. М. Достоевского «Идиот»

**Фердыщенко** – второстепенный персонаж романа «Идиот» – появляется перед зрителем не вдруг. Минутка у нас есть, чтобы разглядеть пространство, в котором он будет фигурировать во время действия. Автор сочинения мечтает о том, чтобы художник спектакля понял своеобразие нашего героя, и уж во всяком случае просит считаться с необходимостью присутствия: графина с водочкой, разнообразных изданий романа «Идиот» и – портрета женщины. Настасья Филипповна, как вы понимаете...

**Скрип двери. Появляется Фердыщенко.**

**Фердыщенко.** Фердыщенко. Фамилия моя – Фердыщенко. А?

Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? Нельзя. А я живу. О, нас таких миллионы... С дикими, уродскими фамилиями, которые чёрт его знает откуда и взялись на белом свете. Да, чёрт и знает! У русского чёрта известно вам, какая фамилия? Я точно знаю – Гоголь.

Вот нужно обозвать человека, действующее-то лицо, да так, чтоб посмешить читателя – обязательно дай ему дурацкую фамилию. Земляника, Перерепенко, Собакевич... Хи-хи-хи. И мой автор – туда же. Героев-то настоящих, которые с идеями, с любовями, как зовут? Иволгин, Епанчин, Рогожин, Терентьев... Даже этим ничтожествам, что вокруг князя-идиота крутились, и тем отпустил приличные фамилии – Лебедев, Келлер, Бурдонский. А меня заклеил навеки, не просто фамилию дал – а придумал такого человека, который всю свою жизнь вывел из своей фамилии, сам лично, вот нарочно, назло под неё подлую и подстроился. Раздавлен фамилией. Приговорён...

А начинается так благородно – Ферд... Фердинанд, ферма, фер лямур... Европа какая-то брезжит солидная и романтическая, с королями, с традициями, с вековыми порядочками... И тут это кошмарное «Ы». ЫЫЫЫ. Сидит европеец, умывшись, кофе накушался и талеры свои считает и вдруг ему в окно, доверчиво открытое, это «ЫЫЫЫ»... ФердыЫЫЫЫ... Это грязная рогатая Азия свою морду просунула. Но тут не просто одно только скотское мычание, о нет, если бы так! Тут ещё ужас подземный, чёрная мистика, тупой и ужасный вой природЫЫЫ...

И после этой трагической встречи европейского Ферда и азиатского ЫЫЫ – идёт какая-то ерунда, какой-то скотный двор, визг и писк, щенки и кошки драные... Фер-ды-щенко! То есть ничем не закончилось наше столкновение, наше бодание-то с Европой – всё расплылось в чушь и дурь, в щепки и тряпки. В это презрительное «щенко». И каков должен быть человек, рождённый с такой фамилией? Ходячий парадокс, шут гороховый. Он ведь с детства привыкает – называешь свою фамилию, и на тебя как-то особенно смотрят. Точно вот чего-то ждут... Уже заранее что-то знают про тебя...

Например, совершенно невозможно, чтоб такой человек, с фамилией-то Фердыщенко, и водки вдруг не пил.

*(Наливает себе из графинчика.)* Невероятно! Фердыщенко – и не пьёт! Фердыщенко обязан пить, и не по-мещански, со вздохами, рюмочки пропускать, а по-настоящему пить, с раз-

махом, соразмерно своей родине и сообразно фамилии, скотски, залихватски, можно сказать – профессионально пить. Про меня автор изволил во второй части своего сочинения написать следующее... (*Ищет место в книге, листает.*) Чёрт, это китайское издание... это на немецком... это что? Шведский, что ли? Нечего сказать, прославил на весь мир... А, вот по-русски... «Фердыщенко съехал куда-то три дня спустя после приключения у Настасьи Филипповны и довольно скоро пропал, так что о нём и всякий слух затих; говорили, что где-то пьёт, но не утвердительно».

Это и значит – пить профессионально, когда на вопрос – «а что он делает?» – люди уверенно отвечают: «пьёт». Но хотя бы не оболгал человека совершенно, указал – «говорили, что где-то пьёт, но НЕ УТВЕРДИТЕЛЬНО»... Как меня зовут, как моё имя родовое, автор не написал, а вот что говорят про меня – счёл нужным обозначить в точности. Какая забота! Какой человеческий попался мне автор! (*Выпивает стопочку.*) Выпиваю я умеренно, кстати, чаще всего за компанию да по случаю, в запоях не бывал и до такого безобразия, как генерал покойный Иволгин, не доходил... Ну, мы не князья, не генералы, убожество наше ничем не прикрыто. Мы Фердыщенко! Вот – чисты и откровенны, и как на ладони Божьей сидим и отвечаем.

Нам слово дали – вот что удивительно. Раньше-то, в текстах-то, которые господа писали, всё больше князья да генералы рассуждали, и вдруг Фердыщенко разрешили говорить! И правильно, и верно! Князей да генералов не много на свете, а Фердыщенко-то мильёны. И когда нам всем разрешат говорить, о, какой правдой зальётся тогда мир – настоящей, густой, вонючей правдой, а не фантазиями этого идиота... Потому что он ведь был настоящий идиот.

Мне ли не знать. Я сразу тогда написал в донесении – идиот чистых кровей, вредного образа мыслей и непредсказуем. Я был полицейский агент и на своём участке знал всех жильцов, и о новых лицах обязан был докладывать в часть незамедлительно. Жалованье платили. На это и жил, как выгнанный со службы и не имеющий иного дохода. На взятке меня повязали, а давали-то не мне, а при мне, товарищу моему, а я тогда не донёс. Взятка была подложная, столоначальник новый подчинённых своих проверял, а я и был ему подчинённый... Места я лишился, и дело на меня завели по доносу, пустое дело, дескать, я и раньше брал, потому и смолчал... Я запил, буянил, в участок попал, а там-то, в полиции, они возьми да и предложи, что-то смекнули они тогда, на меня глядя – вот Фердыщенко, шут и пьяница, на него никто не подумает, полезный будет агент. И дело моё растаяло, зажил я королём испанским!

Но недолго. Раскусили Фердыщенко, раскрыли Фердыщенко... Шептались про меня. «При этом при господине, дескать, нельзя ВСЕГО говорить». Чего ВСЕГО? Кому эти насекомые людишки вообще нужны были, кроме меня и полиции? И что обидно – ведь это генерал Иволгин, сумасшедший и безобразный, ляпнул просто так, чтоб меня обгадить, а Лебедев, чиновник, подхватил и разнёс, подхватил и разнёс, как злобная муха. А я ничем себя не выдал – кто ж мог угадать, что этот фантастический генерал ткнул пальцем в небо и взял да попал! Не поверили, но не выгнали. На другой участок перевели, потом, уже после всего... Ну, после того... Когда Настасья Филипповна... Когда Настасью Филипповну... Когда Настасьи Филипповны... не стало...

Я тогда жил в Петербурге, на квартире Иволгиных. Там мамаша комнаты сдавала жильцам, у неё дочь была, Варвара, сердитая такая девица крысиного вида, сыночек Гаврила, Ганя по-домашнему, глядел Наполеоном, а по-моему, просто неудачник озлобленный и без никаких талантов, потом мальчишка болтливый, Коля. И генерал наш, Ардалион, краснорожее чудовище, нахал и врун, каких свет не видывал. И ещё про меня осмеливались говорить, что я пью, когда генерал Иволгин, от горя, что разжаловали и только что под суд не отдали, пожалели за семью и преклонный возраст, пил два года без продыху, каждый Божий день. Он растратчик был, казённые деньги на одну вдову спустил, и с этой вдовой, капитаншей Терентьевой, продолжал якшаться, и ночевал у неё, и все знали. Сынок этой самой капитанши, Ипполит Терен-

тьев, ядовитый юноша, потом целую исповедь сочинил и читал нам под липами, в Павловске, когда мы все у князя сошлись... Ипполит этот чахоточный – нахал, и дурак, и лгун, и весь обшит претензиями к мирозданию: как это, дескать, я, такой прекрасный, умирать должен, а всем плевать! Застрелиться хотел, при нас прямо, на глазах у князя, а капсюля в пистолетик забыл положить. Смех один!

Что его мамаша пьяного дурака генерала обирает, а он на эти деньги живёт – ему плевать. А что его высочество Ипполит Терентьев умрёт, как всем тварям положено – тут мы бунтуем и пишем тетради протеста. Да что с того, что ты умрёшь? Тебе, может, и родиться-то не стоило вовсе. Царь Соломон умер, Христос умер, Наполеон умер – и ничего, никаких исповедей не писали и перед мирозданием протестных танцев не исполняли. Тварь своё место знать обязана. Я знаю. Мне от рождения сама судьба ткнула в голову: ты – Фердыщенко. Ферд-ы-щенко. Я тварь. И нет про меня никакого замысла. Дунул Господь в глину – а дыхание мимо прошло и в меня не попало. Ну, может, крошка какая-то. Может быть... Так что теперь, письма Ему писать? Как хотите, а это наглость. Я перед людьми нахал, а перед Богом – смиренная тварь. Мне нравится быть тварью...

### **Выпивает стопочку.**

А зовут меня Пётр Петрович. Да... В конце ноября... двадцать седьмого числа. Приводит Ганя Иволгин к нам домой этого князя, и шепотком сообщает, что приехал из Швейцарии залеченный идиот, молодой, нищий, фамилия Мышкин, в доме у Епанчиных был и понравился там девицам и генеральше. Дальний родственник их какой-то. Сказал, что князь, может, и не идиот вовсе, а плут и проходимец. Мышкин, идиот! Я даже расположился к нему – фамилия, хоть не такая комедийная, как у меня, но всё-таки смешная. Детская какая-то.

Я так себе представил: войду и скажу – «Фердыщенко». А он ответит: «Мышкин». И мы оба, может, засмеёмся. Как будто равные... Может, подружимся потом. Всякое бывает! По крайней мере, он начнёт болтать, будет что написать в донесении. Швейцария! Шутка сказать, там одни анархисты да террористы засели, им наши миллиончики напокупали шато да шале, дворцов и замков по-русски, чтоб, значит, не забыли в революцию всех порезать, а их пощадить. Анархисты по горам голыми бегают, вместе со своими распутными дамочками, и псалмы революционные поют. Приближают бурю... Что это вдруг князь какой-то на голову Епанчиным свалился? Не иначе, как по заданию. Может, мне премию за этого идиота дадут...

«Я Фердыщенко. – А я Мышкин!» Ха-ха. Я когда Настасье Филипповне представлялся, так и вышло. Я ей – «Фердыщенко моя фамилия. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко?» А она засмеялась и отвечает: почему нельзя, я вот – Барашкова. И стала у себя принимать. Тут генерал Епанчин сидит, Афанасий Иванович Тоцкий, большой барин, сидит, и – вот он я сижу! Вообразить невозможно! Вот оттого и принимала, что – вообразить невозможно. Я у неё как символ свободы был, что ли. Так она свою волю заявляла: захочу – и Фердыщенко рядом с вами сядет и шампанское будет пить. Voila! Перед ней, как перед Богом, все оказывались равны...

Что, думаете, я влюблён в неё был, как все? Ничего такого. Я никогда ничего такого не чувствовал. Конечно, смотреть на неё хотелось. И ужасно было приятно, как она всех князей и генералов третировала, как будто любые звания да титулы ей безразличны, по-настоящему безразличны, не притворялась она никогда. Но – я любви не имею. Не действуют на меня чары никакие. Я всегда всех вижу ясно-ясно, как будто на душу мне очки надеты, да что там очки – микроскоп! Вижу всё. Какая тут любовь. Ходил я тогда к одной торговке, у неё своя лавочка была на Сенной, и краденое сбывала, всё полиция боялась, я прикрывал. Баба как баба, из Окуловки, бывшая крепостная. Крепость только-только отменили, шесть годов как прошло, бабы сразу осмелели. Марфуша моя батистовое бельё завела, кофе стала пить... из квасной кружки. От эдакая бадья! Она, конечно, говорила «кофий»... «Пётр Петрович, кофию отку-

шать!» Ей моя фамилия нравилась, громкая, говорит, фамилия, военная. С чего взяла... Самато Иванова была... Гитару мне купила... Прилягу, бывало, у неё, чижик в клетке верещит, кот шляется... серый, полосатый, бока что твои бочки с капустой, от такие бока... тихо... занавесочки белые чуть шевелятся... вот точно ты умер, а вместе с тем жив... Повязали мою Марфушу, не доглядел я... Всю шайку взяли... Дали четыре года. На каторге и померла.

### **Выпивает стопочку.**

Вот такой я человек – и у Марфуши на перинах валяюсь, и в гостиной у Настасьи Филипповны преспокойно расхаживаю, и ничего! И свободно! Начальник мой, квартальный, на меня дивился – куда ты только, грит, Фердыщенко, не пролезешь. Меня к нему к самому пускали с докладами...

А в тот день я сразу решил этого князя Мышкина прощупать, чем он дышит. Вхожу. Сразу масочку надел... Человеку, когда он не один, без маски нельзя! Это как будто голому войти. Один ты перед Богом, какой есть и кривляться тогда нечего. А завелся рядом другой – маску, маску поскорей. Роль играть. Нельзя перед другими со своим лицом! Потому что – не знаем мы, что у нас за лицо, сами себя мы не понимаем и не поймём никогда. Вот ещё совет глупости космической – будь, дескать, самим собой.

Да это невозможно совсем, ни в какой стране, ни в какое время даже, ни с каким человеком, потому что мы... чёрт знает что такое мы. Когда кухарка суп варит, и пихает в бульон кореньев и овоща всякого, то понятно в конце концов, что варево это как-то называется и его можно сожрать. А мы – навечно такого, что и назвать нельзя, и съесть... хм. Пожалуй, что съесть можно. Хм... это я не додумал... Я только хотел сказать, что маска у меня под рукой всегда, маска моя шутовская, где рожа весёлая и будто бы моя – намалёвана. С глазком таким подмигивающим. Мол, вот он я каков!

Без всяких экивоков. Вошёл и сразу в лоб ему, этому князю Мышкину: Фердыщенко!

Там комнатка была тёмная, дрянь комната, кровать железная, стол... Мебель-то Иволгины у чиновника одного, что съезжал, у пьяницы, купили по случаю. Когда мамаша решила жильцов пускать. Чтоб еще хуже, чем они сами, нищих найти и любоваться. На всяких Фердыщенко любоваться. А раньше-то в бельэтаже ведь живали, генеральская семейка!

Он сидит на кровати, узелочек свой швейцарский развязал, там бельишко, трубочка. Он трубочку набивал, охота была покурить, значит. Белёсый такой, глаза светлые... совсем. И смотрит. Как будто давний приятель или друг даже мой, так весело смотрит. И ведём мы с ним такой диалог.

Я говорю – «Фердыщенко!»

Князь отвечает – «Так что же?»

Я тогда понял, что он действительно и в самом деле натуральный князь. Это их повадки. Их кто-то должен представить, или они сами представляются, а если к ним просто так подойти и назвать себя – они только будут улыбаться да шуриться. Это уж такая порода выведена подлая. Это они благородством называют.

Я говорю ему про себя – «Жилец».

Князь отвечает – «Хотите познакомиться?»

Ткнул меня носом в неприличие моего поведения, значит. Учтиво и вежливо. Я должен был постучать, войти, поздороваться и отрекомендовать себя. А я вошёл без пардону и бряк – фамилию. А он ничего не чувствует! И не сказал просто, по-человечески, как я мечтал: «Фердыщенко? А я Мышкин»...

И мы бы рассмеялись. И я бы ему многое рассказал про семейку Иволгиных, да и про Настасью Филипповну имел в запасе, уж я бы его подготовил и не шлёпался бы он всякий раз на каждом шагу в лужу.

Я рассердился. «Э-эх!» – говорю. Сел. Ну, думаю, надо забрать покруче, чтоб спесь с него сбить княжескую, чтоб изумить его до основания. Так-то он мне понравился, правду сказать. Мягкий, нежный, как шарфик шёлковый. Голоса не повышает и смотрит ласково. Сразу видно, что идиот. Маски у него не было, понимаете – было своё лицо. А зачем идиоту маска? Что ему скрывать? Ведь этого ничего не скроешь.

Я его спрашиваю про главное – «У вас деньги есть?»

Он отвечает как идиот – «Немного».

«Сколько именно?»

«Двадцать пять рублей».

Слушайте, кто ж так отвечает! Разве может взрослый вменяемый человек взять и ответить первому встречному, сколько денег у него в кошельке. Я не поверил сначала. Говорю – «Покажите-ка».

А он вынимает из жилетного кармана бумажку в двадцать пять рублей и даёт мне в руки, спокойно, как будто соседу по обеду салфетку передал – губы обтереть. Я таких людей ещё не видывал и Бог даст – и не увижу никогда. Хватит с меня князя Льва Николаевича по гроб жизни. Я, Фердыщенко, шут и пьяница, отставной чиновник, сожитель Марфуши Ивановой, которая краденым на Сенной торговала, полицейский агент-осведомитель по кличке «Испанец» (они меня Фердинандом, королём испанским всё дразнили), битый мачехой, отцом сечёный, потасканный как старый башмак, а мне тогда тридцать пять всего было – я, я... рас-терлся!

Дал он эту бумажку, а за каким она мне шишом? Себе в карман не положишь, мы не в подворотне. Да я и не вор... по крайней мере, у безумных князей на своей квартире не вор. Верчу я бумажку и мелю всякий вздор. «Довольно странно, – говорю, – отчего бы им буреть? Эти двадцатипятирублёвые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют...» Это я хотел показать, что в таких бумажках-то, в двадцатипятирублёвых-то, знаю толк, видал-перевидал я ваши бумажки... А всё врал, больше пяти целковых у меня в ту пору и не бывало... И с чего им, двадцатипятирублёвым царским лебедям, буреть али напротив того, линять? Князю-то, разумеется, ничего такого знать в Швейцарии не полагалось. Он и не знал. Да и знал бы, промолчал. Не тем его голова идиотская была занята – он же приехал мир переворачивать, рай тут обустроить небесный...

Вернул я бумажку. Князь молчит. Надо что-то объяснить – думаю. «Я пришёл, – говорю, – вас предупредить: во-первых, мне денег займы не давать, потому что я непременно буду просить...»

Князь на это изволил молвить коротко и ясно, прямо как Христос: «Хорошо», – говорит. Одно слово: хорошо!

– «Вы платить здесь намерены?»

– «Намерен».

– «А я не намерен; спасибо. Я здесь от вас направо первая дверь, видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать; к вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели?»

– «Нет».

– «И не слышали?»

– «Конечно, нет».

– «Ну, так увидите и услышите; да к тому же он даже у меня просит денег займы! *Avis au lecteur*». – Это я ввернул по-французски, «предуведомление», значит, чтоб он понял – я тоже... я учился... одним словом, сам не знаю, зачем ввернул, выставиться хотел перед князем! Сознаю подлость. Но это всё в маске, в маске...

Сказал «прощайте» и стал уходить. Что ж, думаю, так и расстанемся, что ли! Он всё смотрит ласково, но как будто уже и с насмешкой... Или мне показалось?

– «Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?» – спрашиваю.

– «Отчего же нет?» – удивился князь.

Нашёл кого спрашивать. Он ведь не прикидывался, он в самом деле не понимал, ему всё было неважно – то, что нам, нормальным здоровым людям, важно, что составляет главную заботу, да что там – самую суть нашей жизни. Вот я Фердыщенко – а ему всё равно. Ничего не значит. Деньги есть? И он из кармана вынимает и отдаёт. Я тогда понял: это страшный человек, это опасный человек, и страшнее этого человека быть не может. Он всех нас погубит.

Сидит такая овца швейцарская, в штиблетишках, трубочку раскуривает, смотрит на тебя так... вот так смотрит... как на этом свете не смотрят! Тут запрещено ТАК смотреть! Я с ним пяти минут не пробыл, а ушёл весь в поту, хорошо, генерал Иволгин выручил – припёрся, так я и смылся с форсом – вот, дескать, предупредил тебя, князь, стало быть, не зря визит. Визитик мой. Между прочим, визит вежливости, от жильца жильцу, если без княжеских штучек. Раз ты жилец, то на одной ноге со мной, а я не обязан знать, кто ты такой. Он мне даже и не представился!

У себя я тогда заперся и выходить не хотел. Слышу – галдят, орут... Это каждый Божий день такие сцены были, но тут что-то меня стукнуло... Слышу – голосов что-то больно много. Я и сунулся в гостиную, а там... Настасья Филипповна.

Я и не слышал, как она приехала. У нас колокольчик тогда оборвался, а починить было некому – у нас ведь всё генералы жили да Наполеоны... липовые. Хаос неприличнейший. Совсем невозможно было Настасье Филипповне приезжать в эту квартиру, нищую квартиру подлеца Ганьки Иволгина, которого ей генерал Епанчин присватал. За семьдесят пять тысяч. Хотел приданое дать, чтоб подлец Ганька женился, а потом свою жену... ему, генералу, и передал. Такую выдумал комбинацию, и верил, что всё по его генеральской прихоти выйдет, как всегда всё и выходило.

А тут не вышло. Съел гриб генерал! Как она над ним посмеялась! И над всеми... Смотрит по сторонам – вы что, говорит, жильцов пускаете? Где ж тут ещё и жильцов держать? Хохотала. Генерал наш, Ардалион, во всей красе ввалился, и князь тут же путается и во всё мешается, словно он уже родственник. И как-то они сразу поглядели друг на друга странно. Князь и Настасья Филипповна. Первый раз встретились.

Он мимо прихожей шёл и услышал оборванный колокольчик. Отпер дверь – а там она. Приняла его за лакея, шубу на руки скинула! Я ей потом шепнул, что – это князь, идиот, из Швейцарии... Она удивилась: что ж князь не признался, смолчал, что он не лакей, а я-то уж ничему после той двадцатипятирублёвой бумажки не удивлялся. Это нормальный человек обижается, если его за лакея примут, в спор вступит, покраснеет, закричит... я вам не лакей! А этому – какая разница? Приняли за лакея – так что же? Отчего же нет? Он вообще не чувствовал унижения, как будто его невозможно унижить. Ничем.

Понять этого нельзя, но это было так. Я-то всю жизнь страдал от унижений и маску надел как броню, чтоб самому себя унижать и не дожидаться, когда другие это сделают, потому что желающих тьма тьмушая. Всегда. Которые в каретах разъезжают, тем не понять... Но их тоже можно унижить, пусть не воображают, найдётся вышестоящее лицо, да и над тем лицом сыщется другое вышестоящее... всё выше и выше, и выше... и над самым-самым вышестоящим из вышестоящих всё равно стоит – Судьба. А не судьба, так Смерть-матушка! О, найдётся кому ткнуть твоё гордое лицо в дерьмо, в самую жижу...

Но это наши законы. А ему они были не писаны. Он и не понимал, что быть принятым за лакея – унижительно, обидно! Он даже не понимал, что быть лакеем – обидно. Он с лакеями разговаривал так же учтиво и вежливо, как с нашими генералами. Чёртов демократ! И он совершенно не верил в судьбу! И не боялся смерти – несколько... Он эту сволочь Парфёна Рогожина, который на него с ножом бросался, считал братом...

Да что там вилять, скажу начистоту: в него все влюблялись с первого взгляда, с первого слова. Посмотрит в глаза – и всё кончено, душа вздрогнула и запела, точно птица на рассвете,

когда солнце показалось и зазвучало на небе... Генерал Епанчин, тупая говядина, колода корявая, отпетый карьерист, дубина, жулик, аферист и взяточник – и тот попался! В глаза князю посмотрел – и был сражён навеки, и другом стал в ту же минуту, и должность предложил, деньги стал пихать в карман, к жене и дочкам повёл... Да что там, когда даже я вздрогнул! Вздрогнул, но не влюбился. Нет, не влюбился. Испугался я его, вот это точно... Дрожь меня пробирала его слушать...

### **Выпивает стопочку.**

Я помню, тогда, у Иволгиных, Настасья Филипповна спрашивает нашу Мышку: «Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно... в вас ошиблась?»

Тот бормочет, дескать, удивился, увидя вас так вдруг.

– «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбняющего?»

Я так и взвился – «Ну же, ну! Да ну же! О, господи, каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же... Пентюх же ты, князь, после этого!»

Я дрожал весь внутри, но я же был в маске, в маске, а в маске всё возможно, ведь знают меня как человека развязного, может быть, даже и немножко хама, может, и не очень-то немножко, но это и прекрасно. Для живости в обществе так и надо! А что они стоят столбами и друг на друга смотрят, как привидения! Где они могли видеться раньше, понятно – на том свете где-нибудь. Или в прошлой жизни, как индусы говорят, где-нибудь в цепи перерождений, когда я валялся свиньёй или рыскал жуком по навозу... Он был, например, её рыцарь бедный и верный, господний паладин, а она какая-нибудь дама из свиты Девы Марии. Они давно были знакомы, я никогда в том и не сомневался...

Князь посмотрел на меня – посмотрел, в глаза мне глянул! – засмеялся. «Да и я бы насказал на вашем месте...» И к ней, к ней повернулся. «Давеча меня ваш портрет поразил очень, потом я с Епанчинными про вас говорил... а рано утром, ещё до въезда в Петербург, на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфён Рогожин. И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы».

– «А как же вы меня узнали, что это я?»

– «По портрету и...»

– «И ещё?»

– «И ещё потому, что такую вас именно и воображал... Я вас тоже будто видел где-то...»

– «Где? Где?»

– «Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне...»

Ай да князь! Я заорал, чтоб сбить всю эту мистику, а то напустили туману... «Ай да князь! Впрочем... впрочем, ведь это он всё от невинности»... добавил я как бы с глубоким сожалением. Ловко выделанным сожалением, что вот, жалею я нашу Мышку, нашего больного, который от невинности так красиво и мило врёт. Как записной ловелас и совсем в рыцарском духе – видел Даму во сне, ах-ах.

На моих глазах приготовлялась трагедия, на моих глазах. Тут генерал Иволгин начал выступать с коронными своими номерами... Он был помешан на своём значении, на своей роли в истории... Обыкновенное дело. Где найдёшь такое ничтожество на Руси, чтоб себя Наполеоном не воображало? Разве что я. И уже по одному этому я – не ничтожество. Фердыщенко плут, Фердыщенко шут, но не пустота. Фердыщенко – это уже что-то!

И тут ввалилась эта сволочь. Рогожин. Какой гадиной было это купеческое отродье! Начнём с того, что он выглядел отвратней меня. Курчавый, плотный, нос толстый, глазки крошеч-

ные, весь как будто сальный какой-то. Ходил раскорякой. Одевался в тулупы, в сюртуки немислимые! Я не знаю, мылся ли он вообще! Невежа. Ничего не знал, совсем ничего, не учился никогда, папаша его изверг, из раскольников был. Наживали мильёны и прятали под задницу свою чугунную. С этими деньжищами своими, из-под мёртвой папашинной задницы вынутыми, Рогожин и притащился – Настасью Филипповну покупать.

Целая шайка их ввалилась, в приличный дом, потому что Иволгины всё-таки были приличные люди из общества, хоть и падшие по обстоятельствам, но уж не чета Рогожину и его банде. Кричал – восемнадцать тысяч, сорок тысяч! И потом сто тысяч обещал дать. Так ему прихотилось, а спроси его, с чего он завёлся? Ведь он червяк, а она царица. Ему Катьку с Лиговки в самый раз, а не Настасью Филипповну. Так ему охота показать, что всё на свете купить можно. Женщину, благородную женщину, прилюдно сторговать хотел. При всех. Ну, разве не червяк? Таких давить надо, вот так, ногой, чтоб кожа подлая лопнула и кишочки наружу полезли. Я бы раздавил! Но я был в маске, в маске... Я только смеялся и шумел со всеми.

И тогда ещё Ганька князю пощёчину дал, не специально, а так получилось – он на сестру замахнулся, а князь встал между ними: «Её не дам!» Стерпел пощёчину. Только прошептал «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» Это Ганьке-подлецу. Я тогда понял, кто это... Кто к нам пожаловал... Кто это мог – пощёчину стерпеть, самому не ударить, промолчать и в глаза обидчику только поглядеть...

Ах вот ты кто... Не ждали. Теперь – не ждали... Да и никогда не ждали, по совести говоря...

И я к нему в апостолы-то и не пошёл! И никто не пошёл! Мы тут крепко, как репки, в земле, в матушке, сидим. Вам, ваше сиятельство – или как вас прикажете величать? – надо к нищим, к мытарям, к разбойникам, к публичным девкам, и к прочей всякой-разной падали, какую вы любите... или вот ещё извольте прогуляться к рыбакам, что на Мойке да на Фонтанке рыбку смердящую ловят. Петруша-пропойца да Андрюша-босьяк, да? Помните? Вот к ним пожалуйте! А вы забрались к генералам в бельэтажи, да к грязным купцам, что на мильёнах сидят, да к барам в шёлковом белье, да к подлецам-Ганькам, что спят и видят – наконец-то столько удалось им своровать и нажугить, что они круче царей Иудейских и полиция перед ними на цыпочках гарцует. Вот это все их мечты! Вот они тут со всеми своими потрошками. И ныне, и присно, и во веки веков!

Никогда человек ничем другим не был и не будет никогда. На том стою. Повидал достаточно. Агент Фердыщенко, король испанский...

Зачем пожаловали? Столица наша приглянулась? Санкт-Петербург –дохлый батюшка, гниль да изморозь, туман да чахотка? И к чему вы здесь? Тут ваш враг извечный правит бал, а вы, извините, ваше сиятельство, ни к чему-с! Ни к селу-с, ни к городу-с! Говорю со словесами в шутку, ибо никогда сей унижительной манеры не держал-с!

И ничего из этого я ему не сказал... Портрет её тайком взял. Тот портрет, что она Гане прислала, тот, что князь у Епанчина видел, а Ганька потом домой притащил, к мамаше и сестре. Валялась в гостиной моя Настасья Филипповна позабытая, а я забрал, а никто и не спохватился. Вот он, и сейчас со мной, я его в рамку... Убили мою царицу, зарезали. Я когда узнал, тоже хотел... Потом отошло. Что уж тут... Да и кто я...

### **Выпивает стопочку.**

Вечером того дня приглашён был к ней. Веселить общество, потому как господа сами по себе скучали и куксились, и развлекать себя без французских актрис и канкана не умели совершенно. Шампанское и канкан – тогда их гнилая кровь начинала немножко двигаться. Ну, ещё учтите известное напряжение: все вожделеют к Настасье Филипповне, даже старичок-учи-

тель, так что ревность, злость и свирепые взоры. А я в сторонке, я в масочке – как без такого человека обойтись! Нужен, значит...

Она у Пяти Углов жила, квартира великолепнейшая, мебель, статуи – всё роскошным образом и без изъяну. Афанасий Иванович Тоцкий позаботился – он ведь её содержал. Обязан был, как развратитель девицы Барашковой. Он её деточкой взял, сироткой, в деревне у себя держал для утехи любовной, а потом, как подросла, возьми да заявись наша Настя Барашкова в Петербург. В первейшую красавицу надменную вдруг обратясь из обиженной сиротки – неизвестным образом, то есть как это одни женщины умеют... И жила тут открыто, гостей принимала самых разных. Она тоже как наша Мышка, наш князюшка, демократка была. Учителей каких-то бедненьких принимала, ростовщика Птицына, жениха Вари Иволгиной, крысы, – принимала, меня принимала... И притом ни с кем не путалась и никаких денег не брала. Точно, что они с князем из одной сумасшедшей вселенной были и глаза друг у дружки потому и помнили.

Князь в тот вечер к ней заявляется. Без приглашения, чего в свете не бывает! Да и в полусвете так не принято. Да что там, даже моя Марфуша на Сенной – и та бы дверь захлопнула, заявись к ней сдуру кто незванный. Генерал Епанчин тут, Тоцкий Афанасий Иванович тут, ну, Ганя, куда без него, барыньки, учительшки, старичок один приятный, лет под сто... И князь заваливается – но мы ему нужны как чёрту ладан, он ведь напрямик к ней, к ней, только её и видит... Ну, тут же у нас два демократа, двое сумасшедших с одной Луны свалившись, наконец сошлись! Он и она. Я бормочу, что князь в уплату за нахальство должен спеть модный романс, а сам дрожу. А сам дрожу – понимаю, сейчас начнётся... Тут бойкая одна барыня и брякнула – «Хорошо, говорит, в пети-жё какое-нибудь сыграть...»

Пети-жё, маленькая игра. Я только и ждал! У меня припасено было.

«Господа! Господа! Я знаю одно великолепнейшее и новое пети-жё, по крайней мере, такое, что однажды только и происходило на свете, да и то не удалось. Нас однажды компания собралась, ну и подпили, это правда, и вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух, но такое, что сам он, по искренней совести, считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни; но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать!»

Они зашевелились, эти господа, Афанасий Иванович хмыкнул – «Смешная мысль, а впрочем, понятная: хвастовство особого рода». Он фанфарониска был, Тоцкий-то, пустая душа, но не глуп. А она – о, она одна поняла меня: Настасья Филипповна всё-таки. Царица мира... Хорошо, говорит, ужасно оригинально...

Повелела моя царица! Давайте ваши жребии, господа, барыни увольняются, но только увольняются; собственное вдохновение с признательностью допускается. Давайте ваши жребии, господа, сюда, ко мне, в шляпу, князь будет вынимать. Задача самая простая, самый дурной поступок из всей своей жизни рассказать, – это ужасно легко, господа! Вот вы увидите!

Первый жребий мне и выпал. Второй – Птицына, третий – генерала, четвёртый – Афанасия Ивановича, пятый – князя самого, шестой – Гане и так далее...

Я был в ударе. Я им говорю – «О Боже, какое несчастье! Более всего жалею в настоящую минуту, что я так ничтожен и ничем не замечателен, даже чин на мне самый премаленький; ну, что в самом деле интересного, в том, что Фердыщенко сделал скверный поступок? Да и какой мой самый дурной поступок? Тут *embarras de richesse!* То есть затруднение от избытка...»

Царица моя рассердилась, она была так нервна, так раздражительна в последнее время – «Начинайте, Фердыщенко, вы ужасно много болтаете лишнего!»

– «Остроумия нет, Настасья Филипповна, оттого и болтаю лишнее!»

Я был в маске, но обратился прямо к князю и сказал главное. Я хотел ответа, жаждал ответа всеми изгибами своей душонки. Я для того всё и затеял...

– «Князь, позвольте вас спросить...»

Никто, кстати, не удивился, почему я именно князя, едва мне известного, об этом спрашиваю, он в одну минуту стал для всех лучший приятель и добрый знакомец. Точно мы две тысячи лет его знали – а мы не знали Его две тысячи лет, мы знали о Нём две тысячи лет, скажу между прочим...

– «Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот всё кажется, что на свете гораздо больше воров, чем неворов, и что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что все сплошь одни воры, хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете?»

И вот тут Он пронзил меня, сразил наповал... Он покраснел. Он что-то вспомнил из своей жизни! Он тихо сказал – «Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете...»

Тогда я понял окончательно, что это – Он. Потому что если Господь воплощается в человека, в грязный смердящий прах, то безгрешным абсолютно он быть... просто не имеет права. Иначе всё ложь и дьяволов водевиль. Если кто-то изображает безгрешного – это фарисей, лицемер, Тартюф, хитрая зверюга. Именем Бога прикрывает он своё мохнатое жадное туловище... Да, я на том стоял и стоять буду. А Мышка моя – покраснел... И вспоминая что-то, наверное, глупое, детское, потому что не в силах дитя чего-нибудь да не стащить, просто не зная ещё, как это дурно и грешно, Он, настоящий Он, и должен был покраснеть как ребёнок...

Хорошоохонько и прекрасненько, мой князюшка, пришёл к нам – терпи. Я рассказываю свою историю. Всё правда, и глупей не придумаешь. Просто и скверно. Самое скверное, что было в жизни, честное слово...

«Уверю вас, что я не вор, украл же не знаю как. На даче у Семёна Ивановича Ищенко, в воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марью Сергеевну, дочку Ищенко, барышню, что-нибудь на фортепьяно сыграть. Прохожу через угловую комнату, на рабочем столике у Марьи Ивановны три рубля лежат, зелёная бумажка: вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никошошеньки. Я взял бумажку и положил в карман, для чего – не знаю. Что на меня нашло – не понимаю. Только я поскорей воротился и сел за стол. Я всё сидел и ждал, в довольно сильном волнении, болтал без умолку, анекдоты рассказывал, смеялся; подсел потом к барыням. Чрез полчаса примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью-служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие и помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать её, чтоб она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны, и это вслух и при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно оттого, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит.

Эти три целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошёл и спросил бутылку лафиту; никогда до того я не спрашивал так одну бутылку, без ничего; захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз наверное не повторил бы; этому верьте или нет, как угодно, я не интересуюсь. Ну-с, и всё. Да, а служанку сигналы на другой же день, разумеется. Это строгий был дом...»

Как я не умер там же, у неё в гостиной, прямо на полу, не знаю, как смог докончить, и ведь врал я всем вначале, что когда-то уже рассказывал эту историю – никогда никому не рассказывал, жил с ней, зубами скрипел и сердце своё поедом грыз – но никому... А им как Богу рассказал. Ей и ему. Они мои Боги были, перед ними я в прах-то и рассыпался. Они посмотрели с отвращением, как на грязь. Я совсем упал, навеки. Эти глаза – одни чёрные, другие светлые – глядели на меня сердито и брезгливо... Не поняли! Пропал Фердыщенко!

Я озлобился. «Мало ли что, – говорю, – мало ли что снаружи блестит и добродетелью хочет казаться, потому что своя карета есть... Мало ли кто свою карету имеет... И какими способами...»

Так она даже вздрогнула от гнева и убила глазами. Я похолодел... Всё было кончено.

Я ставил на честность, на исповедь без утайки. Ведь я сам, я сам этот поступок считаю самым скверным за всю жизнь и, стало быть, очиститься хочу, мелкую гадость рассказываю, про три рубля! Боже мой. Три рубля! Генерал Епанчин взятки по три тысячи брал преспокойно... Тоцкий девочек развращал, подлец Ганька за рубль удавить был готов – а они меня за эту поганую бумажку глазами своими казнят, убивают...

А всё именно потому, что три рубля. Будь это три миллиона, они бы иначе глядели, да, иначе! Без уважения, конечно, дождёшься от этих сумасшедших уважения, но хотя бы с интересом. Вот ведь, думали, шут, а сколько смог украсть. Что-то в нём такое, значит, есть... Проглядели мы!

Замолчал я, казнённый и похороненный, и слушаю, как генерал и Тоцкий распинаются, вздор мелют, красуются перед нею под видом что про скверные поступки рассказывают. Врут. Надувают Фердыщенко! Я один, я один про себя правду рассказал, а они намолотили гороху... Генерал курлыкает, как он на мёртвую старуху накричал, а потом так стыдно стало, что пришлось богадельню открывать, Тоцкий про камелии какие-то... стыдно слушать, какая чепуха пошла из этих лживых барских ротиков, а она слушает, а она слушает! И князь. Она слушает, а смотрит только на него... И вдруг прямо так и спрашивает: «Князь, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю. За Гаврилу Ардалионовича Иволгина...»

Знал бы Ганька, кого днём по роже бил... Пощечина-то чем ему обернулась! Князь, конечно, помолчал для приличия, да и отвечает – «Н-нет... не выходите!»

Тут всё смешалось и вихрем понеслось – ввалился к нам сызнова господин хаос, Рогожин сволоочь с бандитами своими, и сто тысяч с ним, в пачке. В газету завернуты. Дальше как во сне... Про меня забыли намертво. Как не было ничего.

Украл дурак три рубля... И не потому дурак, что украл, а потому, что не постыдился рассказать на людях... Вылез. Поверил! Думал, поймут, оценят, простят... А они сморщились безглаголиво, да и вон меня из головы. Великую тайну мою освистали...

### **Наливает стопочку.**

Я одного не понимаю – как он посмел тогда её замуж позвать? Князь-то наш Мышкин? Возьму, говорит, как есть, без ничего. Я вас люблю, Настасья Филипповна и за вас умру, Настасья Филипповна. Слова никому не позволю сказать про вас, Настасья Филипповна... Так и твердил, как пономарь: Настасья Филипповна, Настасья Филипповна... Умел душу вывернуть, ничего не скажешь, а тут ещё наследство кстати подвернулось – наша Мышка, оказывается, был богачом, письмо про свои наследственные мильёны с утра в кармане носил и никому не показывал... Это я понимаю. С таким человеком и должны происходить такие чудеса, человек небывалый и даже будто бы не человек вовсе... Но он же ненормальный был, он был больной мальчик, ему нельзя было жениться ни на ком, никогда! Он что думал – они за руки возьмутся и смотреть будут в глаза друг дружке цельными сутками, месяцами, круглый год? Он что с ней вообще делать собирался? С девочкой, которая с опытным развратником, с Тоцким, с шестнадцати лет хороводилась, с красавицей невозможной, психованной, полупомешанной, у которой в лице даже все нервы прыгали и дрожали, которая собой не владела, надрывами жила, сама себя искала, как потерянная, мучилась от любого слова, от всякого косога взгляда? Спаситель нашёлся! Себя спасай, спаситель...

Рогожин тут завыл зверем – «Отступись!» князю кричал. Да ничего не надо было кричать, царица моя сама всё поняла, на князя глядя... Не буду, говорит, младенцев губить, это Афанасию Ивановичу впору, это он младенцев любит... Где ему жениться, ему самому ещё няньку надо...

Нет, говорит, лучше простимся по-доброму. Рогожин, давай свою пачку! Смотри, Ганя! Брошу я её всю сейчас в камин, а ты полезай в огонь и тащи пачку из огня! Сто тысяч, подумай! А я полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. И мне командует – «Фердыщенко, поправьте огонь!» Точно я у неё теперь специалист по всяким денежным гадостям. «Руки не поднимаются», – говорю, и правду говорю, в тумане я был, ни руками, ни ногами своими не владел. Сто тысяч! И ведь бросила! И загорелось!

А Ганя проклятый стоит и улыбается. Как истукан. Что на него нашло-то, не понимаю! Я его бил, пинал – полезай, фанфаронишка, полезай, проклятый, сгорит! Всё сгорит!

Оттолкнул меня и к дверям пошёл, да не дошёл: хлоп в обморок! Грохнулся об пол. Это в него, значит, Наполеон Бонапарт вселился, в ту минуту, гордый-то полководец и деспот, не дал подлецу в огонь полезть за рогожинскими деньжищами.

Царица наша щипцами каминными тогда пачку выхватила, развернула – деньги были целы, хорошо их Рогожин обернул, в тройной газетный лист. Оставила Ганьке. Отдаю в собственность, говорит. Приказала!

И уехали все. Настасья Филипповна в Екатерингоф с Рогожиным, а князь за ними метнулся, не знаю, чего он хотел, зачем стал под ногами путаться...

А я запил. Первый раз в жизни, да... Признаю. Всю сцену тогда же в донесении точнёхонько описал, кроме пети жё, ни к чему это, сдал как положено – и запил. В лихорадке был месяц...

Потом я её уже издали только видел. Не принимала. Разочаровалась она во мне, что ли. Не знаю. Погиб я за три рубля, можно сказать! И Марфу мою как назло тогда же и повязали...

А князь меня принимал – потом, в Павловске, в июне, на даче у Лебедева, под деревьями. Запутался он совершенно. Себя запутал и всех кругом погубил. Ведь сказано: не от мира сего твоё царство. Князь-христосик юродивый, иже еси на небеси? ну и еси на свои небеси... Как все злились на него! За Аглаей Епанчиной зачем-то стал ухаживать, а девице двадцать лет и приданое генерал давал огромное. Но ведь князю начихать было на приданое, он что-то себе воображал, бедный мальчик. Метался, всех разом спасти хотел. На небо к себе забрать. А мы его хотели забрать – к себе, на землю... И чтоб каждому по кусочку досталось. Чтоб он всё смотрел на нас и сожалел, и понимал, и говорил так ласково, как только он один и умел. Потому что ему жалко нас было. Даже генерала Иволгина. Даже Ганьку. Даже меня... Он в Швейцарии теперь, в клинике, с ума сошёл, когда Рогожин... когда Настасью Филипповну...

Ничего я не знал, в газетах прочёл. Не помню... Как-то выпал из головы целый год, наверное... Что-то я делал, где-то я был? Пил, что ли?

На меня как на кучку дерьма смотрели за три-то моих украденных рубля, а он её зарезал – и он у них герой трагедии. Рогожин. Дрянная мужицкая фамилия, и что в ней трагического? Жил как скотина и царицу мою зарезал как барашка. Настю Барашкову как барашка зарезал грязный мужик Рогожин. Из подлой ревности самодурной. Князь её зарезанную-то увидел и с ума сошёл, которого у него и не было. Идиот. Шёл бы в монахи сразу...

Я зубы скалил на него, а знал в душе, что лучшего ничего не встречу, сколько ни проживу, а я долго проживу. Вот зачем-то я это знаю. Зачем я это знаю и зачем мне долго жить? Совсем незачем, а буду.

### **Выпивает стопочку.**

Буду жить! Буду! Назло всем буду! Про меня шепчутся, при мне за карман держатся – пошли, поползли слушки, что я вор, с того самого проклятого пети-жё и поползли, а я масочку надел, и хожу весело, и насвистываю! Сколько же лет прошло?.. Я полицию оставил, сославшись на хроническое пьянство – не могу исполнять! Болтаю лишнее в зверином образе! Опять на службу поступил, меня Ганька-подлец к себе пристроил. У него своя контора теперь...

Жирует подлец, богатеет подлец, скоро скажут: «Вот идёт Иволгин, король Иудейский», как он мечтал сколько лет... А сколько лет прошло с тех пор – кажется, двадцать? Князь ещё жив, но молчит, иногда мычит только... ЫЫЫЫЫ... Так бывает, что без сознания люди ужасно подолгу живут... Аглая Епанчина писала про него – не мне, Коле Иволгину...

Я однажды князя одного застал, утром, роса на траве... Когда так тихо и чисто на Божьем свете и душа не болит, совсем не болит. Бывает. Лев Николаевич оказался один-одинёшенек, как-то рассосались все его вампиры, кровососы поганые, Лебедев и вся компания... Я спросил его про тот случай... Зачем я взял эти три рубля. Потому что это единственный случай, а те четыреста рублей, что пропали в Павловске у Лебедева, так генерал Иволгин меня оклеветал перед всеми. Известно, что он сам и украл и от стыда умер... Я спросил князя, что он думает про ту, про настоящую мою историю, пусть за мошку и таракана меня считает, но чтоб сказал. Потому что я сам понять не могу...

«Что вы, Фердыщенко, такое говорите – я вас за таракана никогда не считал. Вы просто такую роль странную себе взяли, будто вы шут и нахал, а зачем взяли... Я думаю, вы себя плохо знаете и собой не владеете. Так бывает, и очень часто, у русских людей – совсем не владеют собой, и это при уме остром, при силах могучих в душе, и воспитание получили, и знания имеют, а вот... Возьмут и украдут, и сами не понимают, как такое случилось. Но ведь вы тогда не хвастать хотели, а муку принять, чтоб душа ваша поболела, да и зажила, правда, я угадал? Ну, и сделайте что-нибудь для души, побалуйте вашу птицу...» Вот что-то такое он говорил. Идиотское.

Я-то себя не знаю? Я собой не владею? Я себя знаю. Я украл, потому что большое удовольствие потом получил – не от лафита, плевал я на лафит, я на свои деньги ящик лафита мог купить... Я счастлив был, что совершил наконец поступок. Гадкий. Дрянной. Но поступок! Стал на минутку вором – но не шутком, не ничтожеством, не пустым местом, не сожителем Марфуши, торговки краденым, не доносчиком на жалованье. Чем-то стал. Фердыщенко – вор! Звучит...

Я вообще не знаю, чего мы стыдимся. Кто посмел нас, которых всех в землю закопают как падаль, которые никого не просили нас рожать, обременить стыдом! Знаю, что придёт такое время, что стыда не будет. Придёт настоящий Фердыщенко, придёт не один, а миллионами рыл – рядами, полками, колоннами, и не будет ему конца! И будет Фердыщенко справедлив и милосерден, и разрешит всех от стыда несправедного! Фердыщенко, да придет царствие твое! да будет воля твоя и ныне, и присно...

### **Осекается, спотыкается, падает, приходит в себя.**

Пью и не закусываю. Сам с собой говорю... С ума бы не сойти. Завтра в контору... Что я сейчас говорил? А?

Надо и Настасье Филипповне стопочку налить...

### **Наливает стопочку, ставит перед портретом.**

Нет, она при жизни водки не пила. А сейчас странности такие завелись... Я ей вечером водочки налью – а утром стаканчик-то пустой... Хе-хе... Стаканчик-то пустой...

Приходит, значит, ко мне... Теперь – не брезгует, ноздри-то не раздувает... Видит, кто её... кто верным-то оказался...

### **Удаляется, оборачивается в зал, смеётся.**

Поняла теперь...

## Дарю тебе платочек

### Действующие лица

#### Маша.

**Маша** (*неведомо кому*). Ты кто будешь? Писатель? О дела! Неужто книжки сам сочинишь?

Чего ж мне не знать – не читать! Это мне теперь доля кабацкая досталась, и не переменяй ничего, а я грамоту знаю, у матушки попадьи Олимпиады Иосифовны выучилась. В родном селе, в Горюшках. Купи, добрый господин, водочки, всё и расскажу. Не годится женщинам водку пить? Да ну. А сам пьёшь. Раз тебе тепло – хорошо, так и другим тепло – хорошо, нет? Ты радости ищешь, и я радости ищу. А что я в кабаке, так неужто Господь меня в кабаке не разыщет? Разыщет. Я ему песенку тихонько спою прямо в ухо его мохнатое, он меня к себе и заберёт. Ему кто полюбится, он того сразу... Да, пою песенки, меня хозяин за то и держит.

Выпьешь со мной, не побрезгуешь? Я ничем дурным не хвораю, с кем попало не треплюсь. Я тут особенная. Про меня слава бежит, не слыхал? А, слыхал! Нарочно ко мне пришёл? Ах ты голубь мой, да какой ты беленький да чистенький, даром что бородатенький, а с лица прямо дитячко непорченное. Чего ж я тебе, мил друг, не расскажу – всё тебе расскажу.

Я лучше Анны пою.

Спорить не буду – она мастерица. С детства как заголосила, так все и закивали, как сговорившись: Анна, Анна, Анна. Свадьба – Анна, похороны – Анна. Бабушка Ракушка, Ракитина Марья Петровна, хвасталась, что помнит сто сотен песен. А ведь и впрямь однажды зимой мы с девками считать стали, дак со счёту сбились. Она Анне всё передала, вроде как в наследство. Лучшей песеннице села Горюшки напела свои песни бабушка Ракушка, не сто сотен, а сотни две успела. Да под сотню Анна сама помнила – петь не перепеть. До смерти завывать может, и что деньжищ наживёт!

У нас в Горюшках песню уважают. У кого голос колокольцем звенит да память без дырок, гребни злато лопатой. В саму Самару могут позвать голосить. (Мы от Самары в тридцати верстах вверх по матушке по Волге.)

У нас что-то бабы всё поют, а мужики так, орут по праздникам. В Новодевичьем, в девяти верстах, дьякон отличался. Духовное пел. А наши любят про Стеньку про Разина, как он ходил гулял да княжну персикскую утопил, душегуб окаянный. Всю ночь тешился, а потом дружки его подбили княжну за борт бросить, как ветошку какую, это подумать только – живого человека, царя персикского дочку нежную, красавицу!

Андрюша Луков из Костромы добрую песню раз привёз. Моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Извела меня кручина, подколотая змея, догорай, моя лучина – знаешь? Не знаешь? Мужинская песня, мужик поёт, не житьё ему без милой. Не, наши засмеяли, говорят, нечего про всяких-разных слабаков петь. А разве мужчина по своей милой уж и заплакать не может? У деда Михайлы когда жёнка померла, он всю зиму чёрный ходил. Раз у тебя сердца нет, так ты, что ли, шибко сильный выходишь? Али, может, выходишь ты чурбан?

Чурбан, на котором дрова колют. Стоит себе, не колышется. А посмотреть кругом – так всё на белом свете колышется да трепещется. Ветерок дунет – на берёзке да на осинке листочки задрожат, по воде рябь побежит, песчинки закрутятся. Малая букашка ползет по травинке – та закачается! Как будто все друг дружку слушают и на всё отзываются, и птица любая поёт – и знает, что её слушают и радуются, дерево слушает, на котором она сидит, а на дереве – все-все веточки, и со всею живностью, червяк по листу ползёт, и он слушает. А у нас в душе почему не так? Разве Господь снаружи людей живёт?

У меня вот и внутри, как снаружи – всё трепещется. Скажешь мне ласковое слово – и сердечко прыгает, обругаешь – я неделю реветь буду, ей-богу. Я тогда с мая до жатвы каждый день плакала, перед сном. Это сколько дён выходит? Ни один не пропустила. Когда тогда? А ты не торопись, мил дружок.

Значит, всю жизнь слышу я, как-де Анна хорошо поёт. А чего хорошего?

Чем ей петь?

Родителей дом зажиточный, пятнадцати лет замуж выдали за Васю Курихина, живёт не тужит. Нынче-то ей уж за тридцать будет, а в девках красавица была. Трех родила, раздобрела маленько. Коровья задница, груди с полпуда будут, щёки – яблоки, одно загляденье. У нас таких любят. Ладно бы на свадьбах вопить – нет, она страдания взялась петь, а какие там страдания, что она знать-то знает про страдания?

Страдания! Страдания петь, так надо, чтоб тебе душу разодрали, а ты обратно склеила, да недоклеила. Вот тогда звук пойдёт с трещиной, с дребезгой, с такой завойкой, чтоб глиняных да деревянных прожгло, каменные сердца пробило.

Село наше большое, торговое, тридцать сотен христиан наберётся. Мы под крепостью-то не были. Народ вольный, озорной, поди его пройми бабскими причитаниями. «Ой, грусть-тоска, уехал милый». Грусть-тоска, хрусть доска. Они только в бороду ухмыльнутся – а что, взял да уехал, обычное дело, сама виновата, нечего уши разевать да враньё наше слушать. А так-то вообще любо, когда баба страдает. Вроде как был ты глиняный-деревянный, а стал золотой-серебряный, раз по тебе так убиваются красиво. Приедешь, дескать, милый, стукни в стену – а я выйду, тебя встрену, а нет тебя – сердце стонет, солнце меркнет, дождик землю прибивает. Чего дивиться, что наши мужики ходят к небу нос задравши.

Я страдания один раз всего и спела, когда дед Михайла Курихин, он Анне свёкор, пустил меня в общую избу на святках посидеть. Дай ему Господь долгих дней, сам велел – «спой, Маша». Он случаем слышал, как я пою. Не знаю, как я осмелилась! Как смогла! Охрипла сначала от страху, а потом в охотку пошло, разгорелось. Тихо в избе стало, перестали галдеть, смолкли и на меня смотрят.

У девок слёзки набежали, ох ты Матерь Пресвятая Богородица. А дед Михайла глядит так непонятно, вот будто я ему дочь родная и он за меня загордился.

Он мне потом и говорит – осенью, когда конец работам, сделаем большие посиделки в общей избе, ты приходи, выбирать будем лучшую песенницу.

Ты что, говорю, Михайла Михалыч, чего там выбирать, когда Анна твоя лучшая песенница который год на Горюшках. Правда, говорит, так ведь надо и другим попеть-покрасоваться, тёмно время провести, так ты, Маша, приходи. (Я Маша Туркина.) Большой души человек Михайла Михалыч, всё наше село к нему в душу помещается, всё-то он об людях думает, изба-то общая – его изба, на курихинской земле построена, правда, деньги миром собирали, но Михайла крупней других положил, все знают. Чего у нас друг про друга не знают? Чего скроешь?

Я вот и скрыла бы, да как стряслось со мной – в один день все в селе прознали.

Уж четыре года миновало.

Отец мой, Иван Иваныч, плотник потомственный, знатный мастер, топором бьёт – как иголкой шьёт. Конька на крышу, медведика детишкам обладать, крыльцо починить, всё запросто, ни от какой работы не бегал. Раз позвал его родственник по мачехе (мать моя рано померла), ейный дядя, Ерофей Садовников, в Самару. Пристройка у него во дворе новая – резьбу хотел, по перилам, по окошкам, чтоб краше было. Знает – Иван Иваныч мой непьющий и лишнего не запросит. Только сказал, девчонку свою Машку прихвачу. Дак что не взять – бери, перин в доме завались. А у него, у Ерофея, ещё и другой дом с лавкой, к Волге поближе, там в лавке два сына сидят. Куда одному пузу-то два дома? Сам из простых.

В мае было, перед Николаем Вешним. За три дня, что ли. Мне месяц как семнадцать стукнуло, уж отец давно мне жениха вроде как приглядывал, да только не торопился – я одна у него, им Господь с мачехой детей не дал. А я наших-то парней дичилась – что они всё «гыы» да «гыы». Живи с таким озорником до гробовой доски. Чего в бабе смешного нашли, чего гыгыкать?

Приехали, хожу я по саду, всё у них как у нас, слива да вишенье, ничего сверх обыкновения нет.

Хорошо, бусы красные, любимые, догадалась надеть и рубашку шитую. А юбка будняя была, что в дороге, не успела переменить. В сундуке внизу лежала, а мне в сад охота! Я ж не знала.

Чего не знала – парень там ходит. Волос тёмный, вьётся прям в кольцо, глаз карий, и всё-то он улыбается, а на небе ни облачка и жарит, как в июле.

– Сударыня, – говорит.

Сударыня!

– Вы Иван Иваныча дочка будете?

Киваю, а голос нейдёт. Онемела.

– Первый раз у нас в Самаре?

– Почему это первый, – отвечаю. – Бывала.

Тоненький голос вылез, как вот кошку за хвост крутят. – А я, – говорит, – вашему отцу тётка буду, а Ерофею Матвейчу племянник. Вас как звать-величать?

Я думаю – что, Машей сказываться? А какая я ему Маша? Я Марья Ивановна Туркина. Так и назвалась.

Ему что – знай себе улыбается. Лицо чистое (а у Ерофея оба сына рябые). Ресницы как у девки длиннющие и загибаются, главно дело, будто завитые.

– Вы, – говорит, – Машенька, не стесняйтесь, я сам деревенский, из Отрадного села буду, вот к дяде на ученье приехал.

На ученье-то он приехал, а из лавки чуть не каждый день убегал. Тётка Матрёна, Ерофея супружница, ему потакала. Зато если Ваня наш за прилавком – выручка в три раза поболее будет. Девки-прислужницы нарочно нужду в доме выдумывали, чтоб к Ванечке в лавочку лишний раз заглянуть.

Поговорили мы тогда и разошлись. А в одном доме живём.

Ты, что ли, голубь, таких историй не знаешь? Как молодец с молодницей, в теплынь, под вишнёвым цветом, сходятся? В саду всё было, да. Тайком встречались, никто в доме и не заметил.

Ласковый был парень, ничего не скажу. Стишки знал чувствительные, обхождение понимал. Я думала, вернусь домой, он сватов пришлёт, всё честь по чести. Все ж свои, не чужую какую девку спортил.

А он накануне как нам уезжать с отцом, вызывает меня в сад да и говорит:

«Меня, Машенька, через неделю Ерофей Матвейч в Москву посылает, к родственнику, в большом магазине знаменитом мне место будет. Прости ты меня, милая моя, не судьба нам видеться с тобой. Ничего тут не поделаешь, прощай, Машенька, до свидания!»

Потом уже прознала, что в Москву его от позора отсылали, больно лих на девок оказался, и когда только успевал.

Денег мне сунул, десять рублей, небось, в лавке украл, а то где ему взять.

Я стою тогда столбом и денежку эту в кулаке держу, думаю, порвать её, что ли, али в лицо ему бросить...

И что надо говорить на такой случай? Адю, Ваня? Это я сейчас разьясню, к чему приплела.

У нас в Горюшках дед Василий живёт, нам родня дальняя. Он в солдатах был, с французом воевал, в их столицу Паришь дошёл. И была у него любовь с французинкой паришьской Мари. Восемь десятков лет деду Василию – а помнит он ту Мари паришьскую и об сию пору вздыхает. Что ж, говорю, хороша была? Что, лучше наших волжских, да быть того не может. Коса у неё, что ли, длиннее, круче бока, голос звончее?

Да нет, бает дед Василий. Волос у неё был тонкий, недлинный, сама невеличка, тошенькая, быстроногая, вёрткая такая. Голос журчавый, негромкий, и всё будто со смешком пополам. А глазами стриждёт, бреет и кровь отворяет!

– А по-каковски вы с ней разговоры-то разговаривали? – спрашиваю.

– Дак я пока воевал, маленько стал понимать, да и она немножко выучилась, смышлёная такая была. Сама-то портнишка, иглолчица, платышки шила, только всё больше перешивала, но гордая была – чисто королева. У нас только барыни чванятся, а в той стороне и торговки рыбные важничают, будто княгини какие.

Что ж, говорю, тут доброго?

Доброго, отвечает дед, ничего нет, да только занятно, что бабы – они там ля фам называются – себя держат, будто они леденцы на ярмарке. Ты им по-простому, мол, не желаете ли, а они на тебя посмотрят как приценятся, усмехнутся, плечиком дёрнут и дальше пошли улички паришьские подметать. Платышки у них нежные, а что под платышками, вот на чём люди сидят, то у них так и вертится, так ходуном и ходит! Видала, как рыбу сетью ловят али бабочек в сачок? Вот так этих ляфамочек поймать охота.

И не помню, чтоб моя Мари загрустила, слёзку пустила когда. Весёлая как птичка, и всё-то она работает, всё порхает. И охорашиваться любила, пёрышки чистить. То платочек поменяет, то шляпку. И в зеркальце смотрит и сама себе улыбается. А ласкалась так, что во всю жизнь не забыть. Думал – любит она меня.

Прихожу к ней напоследок, так и так, уходит мой полк, с утра зайду попрощаться насовсем. Прими, не обессудь – и серёжки ей с голубыми камушками. Смеётся, серёжки мои нацепила, перед зеркалом повертелась – ой, ой, Ваня, она меня Ваней называла, говорит, мне со двора идти пора, моя маман маляд, болеет, значит. Утром приходи.

Утром захожу, она кофий пьёт. Чуть голову в мою сторону повернула. Адью, Ваня! Я-то думал, на прощанье любовь у нас будет, а она мне ручкой машет, и вся любовь.

Подумай, три месяца прожили равно как муж с женой. Адью, Ваня!

Наша-то баба выла бы целый день. Да какой там день, она бы за неделю перед разлукой уже выть начала, и через месяц опосля закончила. А у французинок такого не принято. Пришёл – хорошо, ушёл – ещё лучше.

Здело меня. Выходит, дуры мы дешёвые супротив тех ля фам.

– А что, спрашиваю, дед Василий, в той войне, я подзабыла, кто победил?

– Как это кто победил, одолели мы французов, – отвечает Василий.

– Может, потому и одолели, что бабы наши по своим мужикам выли? А не ручкой им делали – адью, Ваня?

Может, и так, отвечал мне дед Василий. Да и наверно так. А только надо всё ж таки себя помнить. Каку-никаку гордость соблюдать. Уважение тогда больше будет, ну и цена подыметя.

Запомнила я тот разговор обидный, только зря меня дед учил.

Как сказал мне Ваня тогда – «До свиданья, Машенька», так внутри всё оборвалось и по тому обрыву сердце моё прямо в Волгу и покатилося.

Ревмя ревела, обнимала, в ногах у него валялась. Ох, стыд какой. Но никому из старших ничего не сказала, да только отец сам догадался. Домой вернулись, я топиться бегала, ей-богу – проследил меня батя. В бане запер. Не знаю, сколько я там просидела, да только раз поутру выбила я окошко и пешим ходом в Самару. Тридцать вёрст.

Чего говоришь? Что ж никто красну девицу не подвёз? Были подводы по дороге, забоялась я. Зачем пошла? Слушай, дружок, кто ж это сказать может, зачем я шла. Думала – увижу его. Думала – скажу ему. Я не в уме тогда была. Сами ноги несли.

Днём гроза собиралась, потемнело, а как я до Самары дошла, тут и хлынуло. Бегаю взад-вперёд по улице, где Садовников дом, нитки на мне сухой нет, и думаю: хорошо бы молоньёй сейчас прибило, смерть моя тогда без греха будет и всем родным облегченье.

А тётка Матрёна меня из окна приметила и в дом затащила, ну причитать. Уехал, говорит, вчера злодей, душу всю из нас вытряс, и что мы денег перевели девкам платить за позор. Ты, говорит, Машута, не реви, мы тебе жениха найдём грех венцом прикрыть, ты девица видная, Иван Иваныч человек известный, Ерофей мужик добрый, приданое справим первый сорт. Что ж тут поделаешь, от сотворения мира такая история тянется, ходят эти кудрявые нам на погибель.

Я и не ревела. Закоченела я как-то. Приехал батя за мной, а я молчу всю дорогу. Так и промолчала с месяц, а потом...

А потом, голубь, Господь мне спасение послал. Стала я про себя петь тихонечко, и сердцу облегчение вышло. В огороде хожу – пою, на Волге на бережку сажу – пою. И главное дело, что я пою-то! Случилась у меня тайна великая, для меня великая, а так-то она маленькая тайна, мне по росту – вишь, я кроха какая. Никому я своей тайны не говорю, а внутри-то распирает, потому как не может эта моя тайна в тишине жить, никак не может. Одначе кому сказать?

Я тогда в селе не показывалась совсем, разве в церковь схожу – и домой. Кто я теперь, ни баба, ни девица. Будут за спиной гыгыкать, а без них тошно. Зашёл к нам раз по общим делам дед Михайла, я минутку улучила и шепчу ему – Михайла Михалыч, поговорить надоть. В сад его увела, в самый дальний угол, где мама покойная дубочек посадила, а он уж тень густую даёт, летом в той тени спать можно запросто. Сели мы с ним под тем дубочком.

– Михайла Михалыч, говорю, ты меня петь позвал на посиделки, а я вот не знаю, как тебе и сказать...

– Да скажи уж как-нибудь, – смеётся. – Али боишься? Не бойсь, никто тебя не обидит, подумаешь, беда какая. Хуже бывает, Машенька.

– Нет, тут не то, Михайла Михалыч. Я... песню придумала. Нашло на меня. Сама песню придумала.

– Какую такую песню?

– Стдания.

Он и говорит: а ну-ка напой.

Я духу набрала и начинаю. Обычно стдания длинные выходят, а у меня всего-то четыре куплета, да только больше не надо.

Мне казалось, он смеётся,  
А он навек расстается.  
Люди добрые, поверьте,  
Расставание хуже смерти...

Я когда пела, глаза от страху зажмурила, а жуть как хочется лицо деда Михайлы увидеть, как он слушает мою песню... Мою!

Зачем было сердце вынуть,  
Полюбить, потом покинуть.  
О разлуке если бы знала,  
Никогда б я не страдала.

Подсматриваю я, значит, за ним, и вижу – у Михайлы-то обычно глаза с прищуром, а тут раскрылись и блестят, вот будто он плакать собрался или уже отплакал.

А тут кто хочешь заплачет, у меня такой напев коварный. Я одно коленце с одних страданий взяла, другое – с других, а потом по-своему и вывернула. Первый и третий куплет поются одинаково, а второй и четвёртый – иначе, те с наскоком, а эти с оттяжкой.

А в прощальный наш денёчек  
Я дарю тебе платочек.  
На платочке – сини поймы,  
Возьмёшь в руки – меня вспомни.

Я схитрила немножко. Подрубила жизнь под песню. Платочек-то был на самом деле, я, когда в доме у Ерофея жила, взяла с собой работу, платок разукрасить, красным по белому. Цветами.

А потом я этот платок на четыре части разрезала и по-другому вышила, чтоб вроде как для мужчины, носы-усы обтирать, вышло. Петушков пустила, уточек. И в уголках маленькие букочки «МТ» вывела, Маша Туркина, стало быть. Все четыре платочка я ему подарила, да только не в прощальный денёчек. Если б я про такую его подлость знала, так сраной тряпки бы не дала! Ну, а для песни другое нужно.

Петь надо про чистое, про хорошее. Ты вот мне сердце разбил, а я тебе платочек дарю на память. Я выхожу молодчина, да и ты через меня герой, такой, что в песню тебя не стыдно вставить. Мало ли, куда ты поехал! Может, служба такая. В песне про то не поётся.

До свиданья, милый скажет,  
А на сердце камень ляжет.  
До свиданья, до свиданья,  
Не забудь ты моё страдание.

Спела и обмерла. Жду, как дед Михайла приговорит. Я-то цену своей песне знаю, а людей разве разберёшь.

А он непонятно как-то крякнул, головой покачал, и говорит:

– Эх, жизнь наша! Эх, Маша-Маша! Знала бы ты, как я свою жену-покойницу любил! Да. Жену любил, а была одна женщина в Самаре, на Никольской улице жила...

Совсем не то говорит, мне про песню надо, а он про жену! Что ж, говорю, песня-то моя, дед Михайла, как тебе песня?

Он уж наладился мне про свою зазнобу с Никольской улицы рассказывать. И даже будто не понимает, что я спрашиваю.

– Я сама придумала – и слова, и напев. Страдания мои – понравились тебе? – говорю.

– Сама придумала, да... не верится что-то, хотя я таких страданий не слышал, – отвечает. – Ты меня прости, Маша, я знаю, что ты меня обманывать не будешь, только я ещё не встречал человека, который вот – песню сочинил. Вроде знаю, что такие бывают, но во всю жизнь не видал, понимаешь? Песни – они будто сами собой приходят, как дожди. Будто их сама Волга сочиняет или трава, или тёмный лес, или дорога... Не дергай губками-то, верю, что твои это страдания, только ты когда пела – это будто не ты была, а незнамо кто. Меня, человека бывалого, дрожь пробрала! Ты знаешь что, ты в избе не сказывай, что сама придумала. Говори – слышала в Самаре, поверят.

Знаешь, мил человек, огорчилась я. Думала, похвалит, а совсем не то вышло. И как-то душа повернулась против этих посиделок в общей-то избе. Если уж дед Михайла не понял, так там и подавно не поймут. Одначе пошла...

Зачем пошла, голубь? Поплакать на миру захотелось, чтоб знали, чтоб пожалели, чтоб сердца ихнии наружу вылезли. Дак они и вылезли, чтоб их черти съели.

Я в ту пору как хмельная ходила – песни меня одолели. Я ещё три штуки придумала! Одну жалостную, две смешные. Про хорошую любовь, без обиды.

На окошке два цветочка,  
Голубой да синенький,  
Никто любви нашей не знает,  
Только я да миленький.

Так и было поначалу-то у нас с Ваней, весело было, мы всё хохотали с ним.

Я тебе, мой дорогой,  
Да подарю платок с каймой,  
Платочек всем показывай,  
Про любовь не сказывай!

Опять этот платочек, дался мне платочек. Не знаю, чего он сызнова в мою песню просунулся. Правда, этот платочек радостный, а тот грустный был. Так и выходит, что разные это платочки.

Три вечера мы тогда в избе просидели. Спервоначалу, все бабы, что с голосом, по одной песне напели, а дед Михайла и ещё трое мужичков выбирали тех, кто получше. Пятерых выбрали. Я в тот вечер не свою песню пела, а знакомую – «Летят утки и два гуся», и не во весь опор летела, а так, вполноги. А всё равно отобрали меня.

Второй вечер всякое пела, и свою спела, «На окошке два цветочка», народ смеялся, ногами подтопывал, в пляс просился.

Тут уж мы двое прошли дальше, я и Анна...

Что молчу, дружок? Дак вспоминать неохота. Я деда Михайлу не послушалась, призналась миру, что придумала сама песню-страдание. Как я спела? А так не поют. Что толку-то, всё равно Анну лучшей песенницей признали.

Я потом деда Михайлу спрашивала, как такое может быть. Я когда отпела, тишина стояла, и слышно было, как у народа сердце тукает. Это разве бывает? Только один дурак потом в избе крикнул – «Это Машка об себе страдает!», и они загыгыкали...

Михайла Михалыч мне разъяснил – опешили люди, понимаешь. Они к другому привыкли. Так, знаешь, чтоб песенкой почесало немного в приятном месте. А ты душу рвёшь. Ты погоди, они обвыкнутся, залюбят тебя больше Анны.

Не стала я годить, голубь мой бородатенький! Что-то моркотно мне в селе моём сделалось, и в один прекрасный день ушла я в Самару, и уж чураться чужих подвод не стала, и села к мужикам в телегу, чего беречь сокровище-то, которого нету.

Вот сюда и прибилась. Тут, во втором дворе, в левом флигеле, комнатка моя, хочешь – заходи. Пою когда? Дак каждый вечер пою, коли просят.

Я росла и расцветала  
До семнадцати годов,  
А семнадцати годов  
Кружит девушку любовь.  
Ой Самара-городок, беспокойная я,  
Беспокойная я, успокой ты меня!

Слышал, что ли? Моя. Рублёвика, чай, не жалко за такую песню? Ох ты, миленький ты мой, пятишницу отвалил. Я ж теперь помадку себе куплю, конфеток шоколатных. Платочек? Платочка я себе, голубь, покупать не стану, не люблю я этих платочков, пушай им девицы голову покрывают да бабы кутаются. А я теперь незнамо кто. Была я Маша Туркина, а стала волжской волной, травкой расту и ветерком над всеми вами вею. Помру я скоро, так думаю.

Знал бы ты, как это хорошо. Да ничего ты не знаешь, писатель.

Отец? Папашка мой в прошлом году Богу душу отдал. Поплакала я немножко, как весть получила, денёк, наверно. Я уж реветь как прежде не умею. Вроде жалко, а только вся та жизнь для меня теперь как на другом берегу и в тумане не разглядишь её вовсе.

Ещё чего расскажу, дед-то Михайла, хрен старый, на другой день опосля того, как мы с бабами в общей избе перед ним выкомаривались, свататься ко мне припёрся.

Вот насмешил так насмешил!

## «Мамочка, рапортую!»

**Кладбище. Старый, заброшенный уголок. Появляется Женщина, в поношенном плаще, с волосами, стянутыми аптечной резинкой, со стёртым, усталым лицом давно и безрадостно пьющего человека. Женщина толкает перед собой детскую коляску (лежачую), в поддоне которой разместились авоська с пустыми бутылками. Она подвозит коляску к одному из крестов и садится на ветхую скамеечку.**

**Женщина.** Нашла я тебя все-таки, Татьяна Ивановна. Как это меня черти заморочили. Полтора часа хожу. (*Внимает бутылку водки.*) Вчера вдруг стукнуло – пятнадцать лет. Ты, когда умирала – как раз Горбачев генсеком стал... Он тебе нравился, помнишь? Ты всё говорила – молодой, культурный, вежливый... жаль, что маленький. Ты говорила – вот не доверяю я маленьким мужчинам. Ну, как в воду и глядела. У тебя, мамочка, глаз – алмаз. Мамочка-а!!! (*Падает на могилку, плачет быстро, потом встаёт и оглядывается.*) Людей-то нет, люди не видали... Давай, мамочка, выпьем с тобой. А у Михал Сергеевича, знаешь, жена-то, Раиса, умерла. И деньги, и врачи навороченные, в Германии, ничего не помогло. Я думаю – так на черта туда лезть, наверх, когда один чёрт. Я стаканчика-то два взяла, налью тебе и себе, по старой памяти. Я помню, как ты мне нальёшь, и строго так: Лариска! Знай меру! Ты женщина! Женщина... наказал Бог черепаху. (*Пьёт.*) Псковская, дешёвка, дрянь... да без разницы. Я, мамочка, всё пью. Но – только на свои. Только на свои. Я не побираюсь, как некоторые. Мы, конечно, люди простые, всё больше со шваброй, но пьём на свои. Если ты недовольна про памятник и про что ограду покрасить могла бы, то это не ко мне. Не ко мне. Мне красить не на что и цветы ещё сажать когда. Я в пяти местах сразу. Булочная, магазин мясной, общежитие плюс школа. Я пластом лежу, пластом. Зубы не вставить, ничего, а то бы отложила, на зубы, деньги бывают. У меня Катька твоя драгоценная вот что. Вот, полюбуйся, правнук твой Митя. Тебе привезла. Смотреть не на что. Задохлик куриный. Голос только наш, фамильный, как заорёт – в Киеве слышно. (*Как назло, ребёнок начинает пиццать.*) О, начал, новое дело. (*Качает, напевает.*) Спи, мой ангел, спи, мой чиж, мать уехала в Париж. Бабку из меня сделали в сорок два года. Я сама ещё могу. Я, мамочка, вся в тебя – климакса нет и не предвидится. О силища! Помнишь, ты в пятьдесят с чем-то залетела? От сантехника? Он ещё двадцать рублей принёс, в бумажку завёрнутые, говорил – уважаю мать-природу, но не смею рисковать. А я тогда всё поняла, а ты стыдилась меня, как я Катьку потом. А чего мы всю жизнь стыдились, мамочка, ты не знаешь? А потом уж я так, без стыда... (*Встаёт.*) Ну, посмотри на меня, Татьяна Ивановна. Это я, твоя дочь Лариса. Узнаёшь? Нравится? Знаю, что не нравится. Да и не узнала бы ты меня. Мамочка, рапортую: из меня ничего не вышло! Я – дерьмо на палочке! Это у нас в детстве такое ругательство было. Про дерьмо на палочке. Я когда шваброй орудую, вспоминаю. Вот палочка, вот дерьмо. Ненавижу уборку. Идиотское занятие. Как будто в этом дело. Как будто вымыл полы – и жизнь хороша. Мам... что мне делать, а? Я просвета не вижу. (*Ребенок запищал.*) Тихо, крысёнок, лежи тихо. На бутылочки на твои пока хватит, а там уж – не знаю. Катьку еле подняла... Гуляет Катька. С такими ходит... если вот мне скажут, что они человека сварили и съели – я, знаешь, не удивлюсь, нет. С ребёночком я сижу, а когда на работу – соседку прошу, Валентину Михайловну, помнишь? Мы же всё там же и живём, на Лахтинской улице, двадцать два метра, там, всё там... А Валя всех схоронила, представляешь, обеих девочек... то есть им под пятьдесят было. Замуж не вышли, как-то не тянули они к себе мужиков, ну никак. Не то что мы, да, мамочка? Ну вот, Валя тоже болеет, но она ещё о-го-го. Я вообще как посмотрю – которые бабульки по девяносто, по восемьдесят пять отмахали – они живут и живут, и крепкие такие, и маразма никакого. Это они ещё при царе родились, тогда представляешь какая была силища в природе. Ни заводов этих дурных, ни станций атом-

ных. Вот они и живут, всё пережили. А мы все, которым вот пятьдесят там, сорок – мы чистая дохлятина. Отравлены мы. Так что я, мама, сама скоро к тебе... Ну, Валя в двух комнатах одна, и я, конечно, так прямо не говорю... но помогаю, помогаю, когда есть чем. Она говорит: мама, твоя Катька поселится и погубит жилплощадь. А я что, Валя говорит, ты, Лара, бросай пить. Говорит, Катька твоя не сегодня-завтра сядет, ты её выписывай и внука себе забирай и пусть как хочет. Тогда – Валя говорит – тебе завещаю всю жилплощадь, по закону имею право. Да, вот новые новости, Валентина Михайловна, с чего это Катька сядет, что вы говорите... а может, мамочка, так и будет. Чёрт его знает, с кем она, на что живёт... Смеётся. Пей, говорит, мамаша, не вникай. Я тебе не мешаю, и ты мне, говорит, не мешай. Я на тебя зла не держу, от тебя, говорит, ни вреда, ни пользы не было, ты, говорит, спьяну добрая, а трезвой я тебя раза два видела в жизни. И это вранье, мама, как это, я работаю, я всё по дому, всегда... Пришла с животом уже, лежала три месяца и молчит. Только плачет. Один раз, ночью, стала кричать – я, мама, такое видела, я человека убила, я в аду была и чертей кормила. Ничего не понять. Я её обняла, что ты, доченька, давай вместе жить, куда ты ходишь, не ходи, на хлеб заработаем, я тебя в магазин могу пристроить. Нет, говорит, мама, я из такой жизни выпала и мне уже не попасть. Мама, золотая мама, что мы говорим. Мама, ты хотела такой вещи, я помню, – я хочу сказать, ты думала, я к жизни хорошей прибьюсь. Я, мамочка, болею, слаба я на хорошую жизнь. Вот, а чем тоже плохая у меня жизнь – работаю, сама свой хлеб работаю, да. Ты говорила: какой город, какой красивый город, надо красиво жить в нем. Гуляла со мной, я помню. Архитектор Воронихин, да. Архитектура в порядке, да. Мамочка, мы-то не подходим к ихней архитектуре, мы-то – мусор, если нас всех убрать – этот город только обрадуется. Я там мела, мыла, в архитектуре. Пристроилась один раз, на Стрелке, где Биржа, в Военно-морском музее унитаза чистила, зимой лёд колола, всё путем. И – чувствую, не могу. Прихожу к этим ступеням, к этим колоннам, а они на меня глядят, вот... как на вошь. Я хотела, знаешь, так ласково, я вот к вам, чтоб чистенько, а кругом такое молчание и презрение – ты дрянь, ты пьяница, ты и мыть-то не умеешь, ничего не умеешь, дерьмо пролетарское, вообразили, вши, что они хозяйева, всякий труд у нас почетен. Ха-ха. Ходите теперь в своем дерьме, как вам и полагается, теперь-то вы на месте, которое вам положено. И так мне всегда тошно было, мамочка, ездить на эту стрелку, таким я себя насекомым считала, что запила, выгнали... у нас ведь все пьют, кто убирается, не знаю, чего так. В других странах, говорят, всё иначе – работа как работа, а у нас обязательно... трезвый дворник – кто его видел. А что унижительного – чистоту наводить, ничего, хорошее дело, всегда нужно, а никак не получается, почему так, мама, что мы будто на самом низу и хуже нас нет. Кто сказал? Никто не говорил. Мы сами, что ли, такие больные, я не знаю, мам. Я никогда не говорю, кем работаю, если не знают. «В коммунальном хозяйстве», – говорю. Стыдно, что уборщица. Да почему, мам, что такого стыдного, а? Ну, я небольшой человек. Злоупотребляю, бывает. Ну, и что, я же тут живу, я вообще... избиратель, имею дочь, работаю, я не ворую, как некоторые – уж видела, уж мыла в магазинах, да! Бесстыжие там твари, а не люди, есть, конечно, люди, но мало, я добрый человек, да, добрый, и нищим всегда подаю, любим, пусть они и жулики, а мне чего – моё дело дать в протянутую руку, а там куда они денут – их грех, их ответ. Знаешь, мам, я тебе расскажу – я лечиться ходила. От алкоголя. Прочитала объявление – пошла. Накопила семьсот рублей. Мне сказали по телефону, что семьсот, я три месяца копила. Медицинский центр, называется. Копила, да, не ворую, где я возьму. Я бы и воровала, да ты меня замучила со своей совестью, всё учила – нельзя, нельзя, я и не могу, не идет. Всё тебя вижу, как ты очки на нос, и книжку читаешь мне. Прихожу – к врачу сидит очередь, небольшая, человек пять, и всё мамаша со своими сыновьями синенькими. Тем уже под сорок, джинсы застиранные и в глазах туман. Женщин-алкоголиц нету, женщинам стыдно, и некому с ними ходить лечиться – мужиков-то жёны и мамаша волокут сдаваться, а нас вести некому, нужны мы тоже, вши, мусор. Зашла к врачу, он приятный, любезный, за деньги все любезные, как да что. Ну что размазывать – пью. Он говорит – я

бы вам посоветовал вот такой метод, и назвал, не помню, какая-то лакация. Не пить пять дней, и к ним. Не пила, мама! Прихожу, опять очередь, уже на лакацию. Заходят мужики, сидят там с полчаса, выходят – и вид у них такой, мама, знаешь... дымчатый. Захожу сама, и так мне страшно, хуже, чем на аборт первый было. Они – да, так-так, ложитесь на кушетку, и что-то один из них, усатый, росту огромного, мне начинает говорить. Я – проваливаюсь, они мне ещё вкололи что-то. Понимаю – наркоз, гипноз, что-то в голову вбивают. Очнулась, а эти врач-убийцы и говорят – а теперь, Лариса Ивановна, попробуйте капельку водки, чтоб запомнить свою реакцию. Я пробую... и, мама, умираю. Остановка сердца. Нет дыхания, рот пью, как рыба. Они сами испугались, забегали, массируют мне сердце, кричат – Дыши! Дыши! А я – не дышу. Они же мне ввели в голову: пить нельзя. А я наполовину ничего не делаю, нельзя – так я и помираю. Еле-еле откачали, смотрят с тревогой: какая-то у вас, говорят, сильная реакция. Врут. У всех что-то вроде этого – недаром выходили такие люди дымчатые. Но меня никто не предупредил, что такое будет, я же взяла кота в мешке, чуть не сдохла, мама, это разве законно? Я даже хотела в суд подать на моральный ущерб, как в кино видела, в американском, конечно. Не стала – на суде-то надо всё рассказывать, что пришла лечиться от алкоголизма, а мне, знаешь, ну как-то неловко, ещё в газеты попадет, ослаблюсь совсем, я вообще больше тайком пью, чтоб никто не видел. Ну, мам, на полгода я делала это колдовство, и полгода длилось мучение. Протрезвела я, и что? Увидела рожу свою, как есть, комнату свою, из которой выхода не предвидится, дочь свою увидела, шалаву, дуру, грязюку двадцать четыре часа в сутки убирать – и без наркоза, ублюдков кругом, и город, город! Красивый, правда, мама, и без всякой жалости, без всякой милости к человеку – пропадай, как знаешь! Водочки-то нет больше, не выпить мне с тобой, мама. Да, через полгода запила я обратно, да ещё пуще. Заболею я скоро, и плохо, мам, заболею – и никому не будет дела до меня, и буду я от одного врача с глазами стеклянными к другому ходить. И никто за меня даже свечки не поставит, никто за здоровье не запишет – буду валяться на койке в больничке, в палате на двадцать человек, в углу, и судна не допрошусь. Что я, таких, которые уже в сорок пять старухи, не видела? Видела, мамочка. И я из них. Мамочка, ты помоги мне оттуда, сделай что-нибудь, иначе хана мне. Я ведь верю, там что-то есть. Верю. Только в милость Божью не верю – некогда ему, много уж нас очень развелось, не хватает заботы на всех. А свои, сродственные, которые раньше померли – они на самом деле похлопотать могут. Помоги, мама! (*Ребёнок опять запицал.*) Ради него – помоги. Ведь – глухо, ведь никто, ведь одна я, мам, одна я, одна... О, пицтит. На памперсы-то денег нет, в марле лежит, описался, котенок милый. Ну, я пошла мам. Ну, ты меня поняла, правда? Я надеюсь, мамочка, Танечка, дорогая, я за тебя всегда молюсь, ты знаешь, мам, ну, мы договорились, хорошо? Ну, так я надеюсь, ладно? Слушай (*уходя*), а эта Алевтина Кизилова, что рядом с тобой – у неё вообще, что ли, никого нет? Совсем всю ободрали могилку, вот тоже судьба, а у тебя, мамочка, любимая доченька есть, Лариска твоя, ты, мамочка, счастливая...

## Что-нибудь новенькое

Вначале автор требует темноты и тишины. В этой глубокой и чем-то чреватой темноте и тишине звонит, тонко, но важно, как первый тенор, первый телефон. За ним второй, побасистей, поувесистей. А за ним и третий. К ним присоединяются четвёртый, пятый – у каждого свой норв, свой голос. Ещё, ещё... А вот и радиотелефоны подтянулись со своей идиотически-жизнерадостной булькающей музыкой – тут и Бах, и Бетховен, и Моцарт, да тут целый оркестр из телефонов, вся планета гудит, звенит, спешит на свидание! «Это я, я, я, я!»... И опять тишина.

Номер в провинциальной гостинице. Утро. Здесь мы видим женщину средних лет. На полу валяется раскрытый чемодан, а на столике стоит старый, выдавший виды телефон.

**Женщина** (*разбирая чемодан*). Господи. Зачем я столько платьев притащила. Куда это, не понимаю. Правда, я в такой лихорадке была, покидала всё подряд в чемодан – и бегом на поезд. (*Смеётся.*) Да, девушка, весёлую жизнь ты себе испекла! Это в тридцать семь лет – бегом на поезд! А куда же он мчит нас, этот поезд, где пассажиры кушают картошечку, а кому повезло, тот и варёную курочку... а одна пассажирка ничего не кушает, на вопросы не отвечает, а едет себе в город по имени Славск? А мчит нас поезд навстречу судьбе!

Сколько во мне до сих пор дури-то сидит. Когда ж я успокоюсь. (*Разглядывает телефон.*) Какой телефон противный. Это шестидесятых годов дизайн. Пластмасса «под слоновую кость». Из неё ещё ручки у ножей-вилочек делали. На радиоприёмниках тоже... В старой квартире у меня был телефон – «под слоновую кость». И ничего хорошего по нему не звонило. Слоны – не помогли... А тут радио есть? Не работает. Господи, а вдруг телефон тоже не работает! (*Бросается, снимает трубку.*) Вроде гудит. Какое всё-таки убожество эта гостиница. Ну, впрочем, не всё ли равно.

Нет, не всё равно. Давит на меня убожество. Кажется, даже стены презирают меня, точно старые полинявшие тётки. И телефон похож на дряхлого злого пса. Словно говорят они мне: а, попалась птичка. Да. Птичка попалась. Птичка загремела под фанфары. (*Смеётся.*) Ну и что? Какое ваше дело? Что вы тоску на меня нагоняете – дескать, видели мы, видели, видели-перевидели. Таких птичек вы ещё не видели! (*Кружится по номеру, напевая.*)

Надо же, надо же, надо ж такому случиться,  
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться.  
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться,  
Но не могу, не могу, не могу, не могу...  
Не могу и не хочу...

Да, вот уж правда так правда – не могу и не хочу... Значит, в три часа. В три часа. Он сказал – позвоню в три часа. Я думаю, что вот, значит, если я как-нибудь сильно так нагрешу... хотя сильно разве у меня получится? Ну, допустим, вдруг получится. Я, значит, попаду в ад. Буду я в аду, вот в таком я буду аду: буду сидеть и ждать, когда он позвонит. Какой-нибудь он. Или именно этот он?

Наверное, я всегда любила одного и того же человека, только он менял имена и обличья. А потом исчезал... То есть я думала, что это он, а потом оказывалось – нет, совсем не он. Потому что он... настоящий, правильный он – он не мог бы меня так предавать. Нет. Никогда. Нет. Я верю в это – или всё трын-трава. А человек не имеет права думать, что всё трын-

трава, иначе у него душа покрывается мхом, а глаза зарастают болотной тиной, тяжёлой, угрюмой тиной... нет, есть и весельчаки в этом роде... дзинь-ля-ля, трын-трава... Ошибки быть не может. Это он. Наконец-то – он. Увидела и поняла. «Вспомнила тебя душа моя!» Кто это сказал? Кто из мудрецов земли? Они всегда предупреждали нас, этот мир – что-то вроде зоны, исправительно-трудового лагеря для заблудших душ. Но я, наверное, исправилась. Я нашла его. Я сразу подумала: он. А он подумал: она. В одно мгновение.

Женщины любят перебирать свои воспоминания, точно драгоценности. Или безделушки. Я и умирать буду – прикажу подать мне это моё воспоминание. Как мы стояли среди пьяных бездельников, и говорить даже не могли. Нет, конечно, мы что-то говорили, но по-настоящему мы говорили не о том, о чём говорили. Настоящий наш разговор был такой: «Это ты, что ли?» – «Да, это я». – «Господи, что теперь делать!» Смешно, я ведь не хотела идти, я ж не ходок по всем этим презентациям. Ленка уговорила. Такая, значит, компания, такие мужики, ты что, на себе крест поставила, самый возраст... Ленка, Ленка ты моя неугомонная, есть же на свете люди – лёгкие, как снежинки. Хорошо им, наверное, и с ними хорошо. Ленка, по гроб жизни тебе обязана.

В три часа, в три часа, в три часа. А сейчас – десять. Это, значит – пять часов еще. Накраситься, одеться – на всё про всё полтора часа за глаза и за уши. Пять часов! Я свихнусь, точно. Как в девяносто третьем году. Нет, девяносто третий надо забыть, совсем забыть, никогда не вспоминать. Сколько я тогда курила, ужас. Почернела вся. И зачем так распадаться, не понимаю! Кому нужна обезумевшая баба, которая на всех орет от воспалённых нервов, вечно в дыму, в чаду... А как бы оно было чудесно: вот влюбился сдуру, и – воспарил. У Шварца, в пьесе «Обыкновенное чудо» волшебник утверждает: «влюбляться полезно». Значит, начинаешь бегать по утрам, пить морковный сок, учить немецкий язык... самоусовершенствуешься! Ага. Полезно. Счас. Одна и та же петрушка: рыдания, стоны, «я не могу без него жить!», носишься по квартире, надоедаешь всем друзьям, пьёшь, разумеется, никакой не морковный сок... как же мне это все надоело-то... Нет, больше этого не будет. Вот же я два часа на ногах – и ни одной сигареты. Никакого распада! Глаза на восток! Там заря новой жизни!

В три часа. Так. Надо чем-то заняться. Так. Что же мне надеть? Вопрос серьёзен. Вопрос страшен, вопрос грозен.

Может, серое платье? (*Надевает серое платье.*) Строго, прилично. Интеллигентная дама в поисках счастья, но без претензий. «Как здоровье ваших родителей?»... «Где вы отдыхали в прошлом году?»... «О, я понимаю...» И тут скромный нежный смех (*Смеётся.*) Что-то не очень скромный получается. (*Смеётся.*) Разве так попробовать... Нет. Серое платье невезучее. Серое я сделала в девяносто шестом, а в девяносто шестом... Так, девяносто шестой надо забыть, забыть и не вспоминать...

Тогда синее, да, лучше всего синее. Синее платье везучее. (*Надевает синее.*) Я в нём тогда, на презентации-то и была. Хотя, может, не стоит в одном платье всю дорогу выступать? Правда, мужчины обычно не очень-то обращают внимание на одежду. Только если уж что-нибудь выдающееся по безобразию. Чёрт их знает, на что они обращают внимание. Зло берёт иногда: да почему это я и душа моя бессмертная должны зависеть от чьего-то внимания? Пропади оно пропадом. Всё равно живешь-то внутри себя, сам с собой. Главным образом. Не обращают внимания – и на здоровье. Конечно, мне грех жаловаться. Помню, мне один старичок смешно сказал: «Вы – незабываемая женщина!» Правда, это десять лет назад было.

Значит, синее. Романтично, завлекающе. «Я, право, не ожидала...» «Пожалуй, мне хочется моря. Моря – и тишины»... «Разве... разве это возможно?» – и опустить глаза. В глазах должен быть тайный жар. Явный жар может оттолкнуть. А если... взять да и рискнуть, а? Взять да и надеть – красное! Красное-прекрасное. (*Надевает красное.*) Да, это сильно. Сильно и тревожно. Будто вызов или призыв. Вот она я! Бери меня насовсем и навсегда! Хочешь такую? «Ты сам знаешь, почему»... «Я не умею ждать!»... «Да, да, да, чёрт возьми, да!!!»

Да, а он возьмет и перепугается. Подумает, блядь какая-то навязалась. Подумает, хлопот с нею не оберёшься. Тоже, подумает, пожар в сумасшедшем доме эта дамочка. На пенсию скоро, а она в поезда прыгает. Лягушка-путешественница. Нет, только не красное. Потом разве. Сейчас нельзя. Нет, синее, синее, решительно – синее. Один раз повезло – может, опять вывезет. (*Переодевается в синее.*) И к нему платочек, синенький скромный платочек. Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь... Жуть, какой противный телефон. Господи, работает он? (*Бросается к телефону.*) Гудит.

Совершенно не понимаю, что такое телефон. И как они так все устроены... какие-то провода, мембраны, порошки... набираешь цифры, и вдруг – голос. Ничего не понимаю! И про электричество я ничего не понимаю. Что такое за зверь это электри-чест-во. И почему машины едут, и самолёты летают, ничего... совсем ничего... мне уж и объясняли, и сама училась кой-чему... и всё мимо, мимо... Живу в мире, который абсолютно не понимаю. Да что там мир! Вот у меня там внутри есть сердце, печень, желудок... туча всякой всячины... я разве понимаю, что это такое и как оно работает? А ведь это – я. Это – моё устройство. А душа? Где она живёт? В каком месте? Как выглядит? Откуда взялась? Куда потом денется?

Господи, прости меня, я маленькая глупая женщина. Ничего не знаю и ничего не понимаю.

Я понимаю только, что сейчас без пятнадцати одиннадцать, и я до трёх часов сойду с ума. Зачем столько мучений, кто бы мне объяснил. Ну, в чём я виновата? Чего я такого преступного, запретного, невероятного хочу? Хорошо, я влюбилась. Ну и это преступление, что ли? Кому я мешаю? Прогрессивному человечеству? Да ему нет до меня никакого дела. А мне до него. Я просто женщина. Обыкновенная. Влюблённая. Нужно это кому-нибудь, наконец!

Так сидеть и себя заводить – это точно, до санитаров дело дойдет. Сочиним пока макияж. О-хо-хо. (*Достаёт косметичку.*) Честно скажем, мы оттягивали этот момент. Мы не очень готовы туда смотреть. Мы смелые люди, но наш бронепоезд так давно на запасном пути... Ну, вот и ты, моё лицо.

Здравствуй, лицо.

Когда я хочу увидеть себя – я всегда почему-то вижу тебя. А кто ты? Разве ты – это я? Ты друг мне или посторонний чужак? Я всё знаю о тебе – а ты, что ты знаешь обо мне? Нет, конечно, знаешь... ну, так и знай про себя. Не выдавай меня никому. Не говори, сколько я плакала, от чего страдала, когда болела, что пила, что ела... будь моей крепостью, моим войском, сбереги меня, сохрани меня, спрячь... Все и всё на свете против нас с тобой, моё лицо. Что будет, если и ты предашь меня? (*Осторожно наносит краску.*) Я немного, немножечко... глаза поярче, цвет лица поздоровей... я знаю, я, наверное, замучила тебя. Я слишком много хочу от тебя, да? Я обижаю тебя недоверием? Жаль, что лица нельзя менять как платья. Иногда так хочется... что-нибудь новенькое... Ты сделаешь то, о чём я тебя попрошу? Пожалуйста, слушайся меня. Пропусти меня к нему, пропусти мой свет, мою радость, моё желание... ну, то, что еще осталось от моего света. Потому что ты иной раз вот берёшь и так опускаешься... я, значит, стараюсь, болтаю, смеюсь, глядь – а в зеркале усталая пожилая женщина. Ты не делай этого сегодня. Ты сегодня мне помоги. Ты ведь – то, что видит он. Ты мой посол, мой министр иностранных дел, мой полномочный представитель в страшной стране – знаешь, как называется эта страна? «Жизнь другого человека». Ничего не знаю опасней, чем она...

Когда-то давно один умный человек мне сказал: «Понимаешь, мужчины в определенном возрасте боятся сильных чувств». Как это было, вспомнить точно, как это было. Он задумался... но страха никакого не было в нём. «Я завтра уезжаю по делам, на месяц, в город Славск...» А я ему сразу: «Хочешь, я приеду к тебе?» И что-то прошло по его лицу, такая нервная, острая волна. Какое у него лицо... невыносимое. Столько гордости, страдания – в глазах. Наверное, его кто-то предал однажды, а он так и не смог этого забыть. И, по-моему, он не очень-то добр. Нервному человеку трудно быть добрым. Умом-то всё понимаешь, а вот выпол-

зет кто-нибудь утром в кухню, когда ты пытаешься свою личность собрать из ночных осколков – и задушил бы голыми руками, это близких-то, заветных, любимых, за которых жизнь отдашь... а он очень нервный. А при этом такой весёлый, смешной... и темперамент явно имеется. Интересно, а если... кто его знает, на что мы решимся... может быть... нет, ну, нет, не здесь, только не здесь. Жалкий, облезлый номер. Таракан вон ползёт. Я не боюсь, но противно же. Тут любовь, а тут вдруг таракан. Господи, а картина-то, картина! И откуда у них эта идея, что на стене должны быть картины? Тоже мне, эстеты юрского периода. В буфете грязь, прокисшие салаты, колбаса аж вся скукожилась от горя – и вот-те нате, на столах – кружевные салфеточки. Из резины. Такая уж русская патологическая страсть к прекрасному. Они все думают, если в кучку дерьма воткнуть розу – выйдет икебана... Нет, здесь нельзя... А с другой стороны, где тогда? В лесу, что ли? У меня один раз было в лесу, летом, гроза началась... Восемьдесят седьмой год. О, нет, восемьдесят седьмой надо забыть, забыть и не вспоминать.

Не вспоминать. А что ещё делать. Три с половиной часа осталось. Читать не могу, есть не в состоянии. Классические симптомы, знакомы до слёз. Было, было, было... Я думаю, моя душа, если сделать её видимой, вся в шрамах, с выбитым глазом, обе ноги поломаны, полжелудка отсутствует и в голове дырка. У души есть голова? Или что?

Я точно с ума сойду. Которого нет. «Ты приехала? Приехала?» – не знал, что и сказать. Задышался от волнения. Да, да, я же слышала, я не могла ошибиться. Я совершенно вменяема. У меня никогда не было психических расстройств. Я адекватна любой ситуации. Я полностью вменяема. Я не знаю, что такое галлюцинации. Так задыхаются, так кричат в трубку те, кто ждут, те, кто любят. Господи, неужели он меня любит. Этого же... не может быть. Я люблю его. Он любит меня. Ничего такого не бывает. А! Я, наверное, уже умерла. Это мой добрый Бог решил меня наградить. Это такой мираж перед вечным покоем. Последняя сказка о земной жизни... кстати, о земной жизни. Может, чёрное платье надеть? Чёрное – самое эффектное. Чёрное – о! Это перл создания! Помню, я пришла к Мартыненко и говорю ей: Мартыненко, ты кто была бы без меня? Портниха в ателье. Кто тебя в люди вывел? Кто наплёл, что ты великий модельер? Я? А тогда сделай мне что-нибудь... что-нибудь новенькое! Сделай мне такое платье, чтоб мой единственный и неповторимый сразу понял: это – я. Я царица Севера! Повелительница стихий! *(Переодевается в чёрное.)* Тихо, дети, хозяйка пришла. Да, и Мартыненко превзошла себя. Здорово. Без всяких преувеличений. Приколоть эту мою брошку с хрусталём, и всё. «Чёрная роза – эмблема печали, царила разлука...» – нет, почему разлука. «Первая встреча, последняя встреча»... опять что-то грустное. Есть какой-нибудь обнадёживающий русский романс? «Мы странно встретились, и странно разойдёмся»... господи, снова тоска. «Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». Я ещё не встретила, не хочу прощаться. «Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвётся нить...» – а, вот это ничего. Но почему «только раз». «Эх, раз, ещё раз, ещё много-много раз...» *(Отплясывает.)* «На горе стоит ольха, а под горою вишня...» Ох, но очень уж это платье декольте. Полбюста видать. Он может подумать, что я женщина легкомысленная. И всем подряд бюст кажу. И хочу его заманить в ловушку. Что это, с двух слов она как декабристка на всё готова. Может, я каждый месяц за мужиками вдогонку бросаюсь. Это он так может подумать. Тоже, здравствуйте вам, царица Севера. Вона, двух зубов нет, волосы крашенные. Видала виды бабулька. Точно, что не вчера из девушек, ой не вчера. Он же про меня ничего не знает. Мы один раз всего и говорили!

А может, так и лучше. Вот, говорят, надо «узнать человека». «Узнать человека!» Всё хорошее о человеке узнаешь в первые два часа знакомства. А потом десять лет уходят на то, чтобы выяснить, что он: храпит по ночам, за копейку удавится... и тому подобные увлекательные детали. И не хочу я совсем ничего про него знать. Нет, так тоже нельзя. Информация – мать стратегии. Надо будет его изучить – вкусы, привычки. С кем он дружит. Кого ненавидит...

Как странно, что для меня это так важно. По-моему, никому не было очень уж интересно, какие у меня привычки. Никто так в меня не въезжал, как я в них въезжала. Может, я какой-то недоделанный человек, если так нуждаюсь в других людях? Может, это ущербность такая, или даже болезнь? Почему мне не хватает самой себя? Что я ищу в чужих глазах? То, что нашла в нём? А что я искала?

О господи, что это будет, когда мы встретимся, я себе не представляю... У меня сердце, наверное, разорвётся. «И всё же внешним чувствам не дано, ни всем пяти, ни каждому отдельно, уверить сердце бедное моё, что это рабство для него смертельно...» Сердце бедное моё... Организм разваливается. Слишком много психики. Слишком много лирики. И я совершенно не понимаю, что мне надеть. Значит, ясно – джинсы и чёрный свитер. Это, значит, такой сигнал – я ни во что не одета и ни на что, ни на что не претендую. (*Переодевается.*) Ну, пожилая такая пионерка. В буднях великихстроек, в веселом грохоте, в огнях и звонах. Я вышла погулять. А тут вы навстречу. А можно, я вас провожу?

Выпить, что ли, чуточку. Ой, нет, нельзя. Он подумает ещё, что я алкоголичка. И так ни одного плюса нет. Тридцать семь лет, ребенок на руках, не фотомодель, нервы ни к черту, имущества ноль, да ещё и попивает. Ничего себе принцесса Грёза. Это как в анекдоте, когда еврея спрашивают, да есть ли в вас что-нибудь положительное, а он отвечает: «Да, реакция Вассермана».

Сашенька-то как плакал, когда я уезжала. Я ему говорю, зайчика моя, да я всего-то на пять дней, я тебе подарки привезу. А что ему подарки, да и какие тут подарки откопаешь, в этой дыре. Впрочем, зачем так зло говорить, городок как городок, а может, вдруг тут счастье... Это старый мой друг любил повторять. «Зачем я туда иду? Ой, оставьте. Вы не знаете. Может, придёшь – а там счастье...» Так и проходил всю жизнь... Сашенька мой. Совсем не может без меня дитяtko, совсем. Серые мои глазки, как вы там – без меня. И ведь вот как уеду – обязательно с ним что-нибудь случается. В позапрошлом году руку порезал. А прошлым летом всего-то на неделю в Крым поехала, чего поехала, дура, а он заболел ветрянкой... приезжаю – весь в сыпи и зелёнкой намазан, я ему говорю – ты мой леопардик. Какая страшная связка у меня с ним. Что тут рассуждать – надо, не надо, хорошо, плохо – если по-другому не будет. Ну вот, сынок, свихнулась у тебя мамаша. Ты там русский-английский учишь, маму зовёшь, а мама сидит у чёрта на рогах в капкане с тараканами и ждёт звонка от какого-то хрена.

А как Лариса Петровна изволила на меня посмотреть! Дескать, знаем мы ваши командировки. Тоже мне бабушка называется. Не может пять дней с внуком посидеть. Чем это она таким государственно важным занята, министр без портфеля. Вся их сучья порода такая. И сынка такого же вырастила, у которого на глазах помирать будешь – а он через тебя перешагнёт и пойдёт по своим делам. Ох ты, сколько у нас дел! Всё важнее меня! Всё! Всегда! Было важнее меня!

Как с детьми хорошо, честно – ты их любишь, они тебя. А у взрослых одна морока. Если в квартире нет света – люди тревожатся, чинят что-то, налаживают – знают, что без света никак нельзя. А если в душе, в жизни нет света – плевать, и так сойдёт. Я же пыталась. Я держалась до последнего. Я всегда держусь до черты – но когда вижу черту, всё, конец. Дальше распад, когда перестаёшь уважать себя, когда начинается жизнь абы как, день да ночь – сутки прочь. Когда видишь, что для человека ты вроде мебели – стул, шкаф, жена. Он поэтому так удивлялся, когда я кричала – мебель, и вдруг кричит. Ну, и катись ты к своим делам.

Да может, и этот такой же. С чего они другими вдруг станут. Взял и уехал «по делам». Когда я спросила: «Хочешь, я приеду?» – конечно, он испугался. Просто ему неловко было... и потом я ему, наверное, понравилась, так зачем сразу нет. Приехала. А ещё неизвестно, что здесь будет. Может, ничего доброго не будет.

Может, он вообще не позвонит. Почему, если он меня любит, сразу не приехал? Сразу, немедленно. «Позвоню в три часа». Он прекрасно знает – не может он не знать! – что я здесь

сизу, с ума схожу, помираю от волнения, от тревоги, от страха... от любви, в конце концов. Помилуйте, мне ведь не двадцать лет. Это в двадцать лет ещё можно так сидеть, а я и в двадцать сидела, и в тридцать, и в пятьдесят, что ли, буду вот так сидеть, а! И смотреть на проклятый телефон, мерзкий, подлый телефон, который придуман, чтоб люди побыстрее связывались друг с другом, а они мучают друг друга. Боже мой, есть тысячи способов, как превратить жизнь в ад, а люди неумоимо изобретают новые способы, новые, новые! Когда же это всё кончится. Точно я в камере пыток.

Вот интересно. Правда, кстати сказать, это самое интересное. С чего я, собственно, взяла, что он меня любит? Да ни с чего. На ровном месте. Это очередной мираж в цепи миражей моей жизни. Это иллюзия. Потеря границы между желаемым и действительным. Да это и впрямь безумие.

Пожалуй, я выпью всё-таки. Два часа осталось. *(Пьёт.)* Ох, боже мой, развезёт на голодный желудок. Но чем они тут в буфете торгуют – я этого ничего есть не могу. Мм, зажглось, побежало. Мираж, мираж, конечно, мираж. «Посмотрели в глаза и узнали друг друга...» «Вспомнила тебя душа моя!» Да чего там ей вспоминать, когда вспоминать нечего. И узнавать некого. Мало ли я, что ли, в глаза им глядела! О, да, они будут смотреть в твои глаза, и уверять в своей любви, а потом предадут, замучают, убьют... вообще мне всегда было интересно, а вот что они называют любовью? Я думаю, это когда их от человека резко не тошнит, они уже думают – любовь. И бесполезно объяснять. Всё равно что толковать слепым про особенности солнечного света...

Новая жизнь... откуда она возьмётся – новая жизнь... *(Пьёт.)* Да, пью, и плевать. Какое ваше дело. Ах, что он подумает! Ничего он не подумает. Неизвестная и ненужная посторонняя женщина что-то там понемножку употребляет. Если бы он меня вправду любил, он услышал бы, как я мучаюсь. Разве любовь не даёт понимание? Или все сочинители красивых сказок про обыкновенные чудеса так заморочили мне голову. Или я недостойна любви. Или ничего этого не бывает в нашем мире.

Да, он должен был бы меня услышать. Сейчас между нами совсем небольшое расстояние. Мы в одном городе. Может быть, какой-то жалкий километр нас разделяет. Один жалкий километр – и вся прожитая жизнь... я попробую. Вот, я загадала. Любит – услышит и позвонит. Нет – всё мираж. Надо только сосредоточиться... сильно-сильно... собрать всю волю. И послать ему такую... мысленную телеграмму. Сейчас. *(Ходит по номеру.)* Сейчас. Я говорю так.

«Милый мой. Дорогой мой. Это я. Прошу тебя услышать меня. Пожалуйста. Я долго тебя искала. Я ошибалась. Я страдала. Я уже немолодая женщина и мне трудно жить. Я могу для тебя сделать всё на этом свете. Я могу переделать этот мир, если он тебе не нравится. У меня болит сердце. Я схожу с ума от одиночества и любви. Я никогда не буду тебе мешать. Мне вообще так мало нужно! Я человек самостоятельный. Помогите мне, прошу тебя. Мне так от тебя хорошо. Отзовись. Не оставляй меня, откликнись, позови, позвони, позвони, позвони! Пожалей меня. Это же я, я, я!»

**Она закрывает глаза и сидит молча, закоченев от напряжения. Потом открывает глаза и смотрит перед собой. Потом начинает лихорадочно ходить по номеру, убыстряя шаг. Это похоже на мрачно-экспрессивный испанский танец в авангардной постановке. Вдруг она начинает собирать свои платья. Пьёт. Смеётся. Опять укладывает чемодан. Пьёт и смеётся.**

Платьев-то сколько я притащила. А ведь даже трогательно – такой идиоткой быть. Что-то, ей-богу, во мне есть душераздирающее. Так. Нормально. Сашенька, сынок, я скоро буду. Домой. Домой. Немедленно домой. Всё взяла, ничего не забыла. Нет. Ничего не забыла. И

спокойненько. И так спокойно – спокойненько. И домой. (*Смотрит на телефон.*) Я всё это знала. Я всегда это знала. (*Берёт чемодан, потом ставит его на пол.*)

Господи! Я приду к тебе, а ты спросишь – ну, что тебе сделать хорошего, доченька? И я скажу: отче наш! Иже еси на небеси! Да святится имя твое! Ты, который благ и человеколюбец, ты, который всемогущ, всеведущ и вездесущ! Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас! Истреби все телефоны на свете!!!

**Она уходит. Тишина. Всё погружается в темноту. В круге света – только бедный обруганный телефон. И он начинает звенеть – громко, отчаянно, долго, долго, долго...**

## **Сказка про алкоголика Наверное, комедия**

### **Действующие лица (в порядке появления)**

**Лидия Ракушкина.**  
**Рубина Аганбекова.**  
**Первый инспектор (Агора).**  
**Второй инспектор (Фудзи).**  
**Борис Брусов.**  
**1-ый собутыльник.**  
**2-ой собутыльник.**  
**Антонина Ивановна.**  
**Полина.**

## Сцена первая

**Лидия Леонидовна, пациентка, и Рубина Гиреевна, врач. Лидия молчит и поглядывает на врача – та пишет.**

**Лидия Леонидовна.** Вы всё пишете...

**Рубина Гиреевна.** А?

**Лидия Леонидовна.** Вы, говорю, всё пишете, пишете...

**Рубина Гиреевна.** Да-да... *(Продолжает писать.)*

**Лидия Леонидовна.** С ума сойти, сколько вы пишете. Вон, целое дело мне сшили. Следователи пишут, врачи пишут... И почерк такой ужасный... У них у всех. Я думаю, может, мне тоже пойти в доктора? Я подхожу, мне кажется. Почерк у меня скверный, людей я ненавижу...

**Рубина Гиреевна.** Так, Лидия *(взглядывает на дело)*... Леонидовна. Анализы наши мне не нравятся. С такими анализами на свободе гулять нельзя.

**Лидия Леонидовна.** А что там с анализами?

**Рубина Гиреевна.** Наша кровь мне не нравится. Где положено двадцать единиц, у нас сорок. Где сто, у нас пятьдесят. Да и моча наша, я вам скажу...

**Лидия Леонидовна.** Я в этом ничего не понимаю. Скажите по-человечески.

**Рубина Гиреевна.** Разваливаетесь вы, Лидия Леонидовна. По-человечески! Интересно, я по-каковски говорю? Лечиться надо. В стационаре. Месяц-два.

**Лидия Леонидовна.** В больницу? На месяц? Вы что! Вы что! Невозможно. Исключено!

**Рубина Гиреевна.** Я вот женщина сама.

**Лидия Леонидовна.** Вы это к чему?

**Рубина Гиреевна.** Я сама женщина. Но, моя бы воля, я бы вас... *(с неожиданной злобой)* ещё в детстве утопила, как котят. Когда вы ещё девочки. Чтоб потом вас всех... чтоб ни при какой погоде... ни одну вашу рожу климактерическую... ты понимаешь, дура, что загнёшься через год-другой? Да не просто так, заснуть-не проснуться, а через кровяную, через нож, через химию? Ты уже сейчас сидишь тут передо мной и смерть свою двигаешь к себе, двигаешь. Я отодвинуть хочу – а ты всё к себе её, всё к себе!

**Лидия Леонидовна.** Разве... так плохо всё?

**Рубина Гиреевна** *(обычным голосом)*. Следить надо за здоровьем. Беречь надо здоровье, Лидия Леонидовна. Ваши близкие должны это понять.

**Лидия Леонидовна.** Должны, да. Задолжали они мне вообще. Долги у нас, знаете, Рубина Гиреевна, выросли прямо космические. Такого размера, как бывает у государств – когда понятно, что уже никогда не отдать.

**Рубина Гиреевна.** Вы замужем?

**Лидия Леонидовна.** Замужем. И дочь от первого брака, двадцать лет. И бабушка на руках, тётя по матери.

**Рубина Гиреевна.** Кого по матери?

**Лидия Леонидовна.** На руках имею старшую сестру моей покойной мамы, Антонину Ивановну, девяносто два года. Это на мне всё.

**Рубина Гиреевна.** Значит, в принципе люди у вас есть.

**Лидия Леонидовна.** Я их содержу, Рубина Гиреевна. Я одна работаю в семье. И мои месяц-два в больнице – это голод в семье. Вообще конец света.

**Рубина Гиреевна.** Они у вас инвалиды?

**Лидия Леонидовна.** Почему инвалиды?

**Рубина Гиреевна.** Так а что вы чушь несёте? Здоровые – не помрут. Работать пойдут.

**Лидия Леонидовна.** О-о-о... Вы их не знаете.

**Рубина Гиреевна.** Да на что мне их знать! Давайте-ка, вы сейчас взволнованы, давление измерим. *(Присоединяет аппарат.)* Ну вот! Двести десять на сто двадцать!

**Лидия Леонидовна.** А вы себе померьте. Вы тоже, знаете... не в себе... Что это за выражения – рожа климактерическая... Почему обязательно...

**Рубина Гиреевна.** Простите... Ну, если это вас утешит... *(Меряет давление.)* М-да.

**Лидия Леонидовна.** И сколько у вас?

**Рубина Гиреевна.** Сто восемьдесят на сто.

**Лидия Леонидовна.** Тоже с перевесом?

**Рубина Гиреевна.** Зато у меня гемоглобин – во! До потолка! А у вас – плюнуть и растереть, ваш гемоглобин.

**Лидия Леонидовна.** Знаете, Рубина Гиреевна, вам самой лечиться пора. Нормально, да – писала, писала свои каракули, а потом орать на человека. Оскорблять человека больного!

**Рубина Гиреевна.** Какие каракули? Это болячки твои! Нажила в сорок шесть лет три вагона болячек, а я сиди, а я пиши, а я уговаривай! Щитовидка! Давление! Холестерин! зуб даю, камни в почках! И ещё мы сделаем УЗИ малого таза, и мы не знаем, какая там у нас завелась история в деталях! *(Уставая.)* Кардиограмма дрянь, РОЭ выше нормы, дисфункция... затемнение... патология... *(Падает головой на стол в бумагу.)*

**Лидия Леонидовна.** Рубина Гиреевна! Рубина Гиреевна! *(Подбегает к раковине, набирает в рот воды, прыскает на Рубину.)*

**Рубина Гиреевна** *(очнувшись).* Я отключилась? Лидия Леонидовна. Ага.

**Рубина Гиреевна.** Так. Напомните мне... А! *(Читает дело.)* Лидия Леонидовна Ракушкина? На что жалуемся, Лидия Леонидовна?

### **Некоторое время врач и пациент смотрят друг на друга.**

**Лидия Леонидовна** *(о чём-то догадавшись).* Рубина Гиреевна, а вы замужем?

**Рубина Гиреевна.** Ну, а вам что. Ну, замужем, да. Восемнадцать лет. Он наполовину наш, наполовину русский.

**Лидия Леонидовна.** И что – какая половина победила? *(Делает характерный жест.)*

**Рубина Гиреевна.** А как вы догадались?

**Лидия Леонидовна.** Давно пьёт?

**Рубина Гиреевна.** Да сначала, вроде как, в рамках было...

**Лидия Леонидовна.** Лечился?

**Рубина Гиреевна.** Э-э-э... Ампулы три раза ножом вырезал. Довженко ученик ни хрена не помог. Потом гипноз...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.